

## СТАТЬИ, ПРИЛОЖЕННЫЕ К ПЕРЕВОДУ «ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ» Г. ВЕБЕРА

### ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ «ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ» Г. ВЕБЕРА, Т. I 1

«Всеобщая история» Вебера — наилучший из тех трактатов, которые имеют своим предназначением дать подробный рассказ о фактах истории человечества. Это признано во всем ученом мире.

Потому в предисловии к переводу этой книги на русский язык нет надобности распространяться о ее достоинствах.

Он имеет и слабые стороны. Поговорим о них.

Вебер — ученый очень добросовестный; но он только очень добросовестный и очень ученый человек. Он не гениальный человек. В своих общих понятиях он не самостоятельный мыслитель. Те мнения, которые кажутся справедливыми огромному большинству немецких историков, кажутся справедливыми и ему. В этих мнениях есть два элемента противонаучные. Один из них — наследие, уцелевшее в умах немецких историков от периода владычества систем трансцендентальной философии над немецкою наукою. «Введение» у Вебера составлено в этом вкусе. Другой противонаучный элемент в его книге — обыкновенная не у одних немцев, у людей всех наций слабость: пристрастие к своей нации.

Так, и очень жаль, что так. Без философских рассуждений в трансцендентальном тоне и без рассуждений о превосходстве немецкой нации над итальянскою, французскою и английскою книга Вебера была бы несравненно лучше. Но и при этих своих дурных примесях, она в сущности все-таки книга честная: автор, если и говорит много противонаучного, то лишь потому, что ошибается; он всегда добросовестен.

## ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ «ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ» Г. ВЕБЕРА, Т. VI

Правописание мусульманских, и, в частности, арабских, собственных имен еще не установилось у западных ориенталистов. Приведем объяснения некоторых из наиболее частых случаев этого колебания орфографии.

В арабском письме употребляются только три знака для выражения гласных; основной характер этих знаков:

а, и, у.

Потому можно полагать, что когда было введено у арабов правописание, остающееся до сих пор употребительным, то в курейшитском наречии, получившем владычество в литературе, существовали только три эти гласные звука: а, и, у. В нынешнем произношении арабов, говорящих литературным языком, существуют и гласные звуки

э, о;

но в письме нет особых знаков для них. Звуку э соответствует обыкновенно знак звука а, иногда знак звука и; звуку о соответствует знак звука у.

Некоторые ориенталисты пишут на западных языках арабские (и другие мусульманские) имена соответственно обозначению их гласных звуков на арабском (и персидском, турецком) письме; другие соответственно нынешнему выговору.

Таким образом, например, слово, которое пишется по-арабски

малик,

получает у разных ориенталистов четыре разные формы:

малик,  
мелик,  
малек,  
мелек.

Член аль (le, the, der) ориенталисты в книгах на западных языках пишут двумя разными способами:

аль,  
эль.

Некоторые из согласных звуков в арабском языке способны принимать удвоение. Когда перед словом, начинающимся с такого звука, находится член, то в нынешнем произношении звук л в члене исчезает, заменяясь удвоением начального звука слова, с которым связан член. Эта замена делается только в произноше-

нии; на письме член сохраняет свой вид без перемены. Так, например, пишется

аль-Рашид;

но звук р способен удвоиться; потому произносится

ар-Рашид.

Соответственно этому, некоторые ориенталисты употребляют в своих книгах на западных языках форму

(Гарун) аль-Рашид,

другие — форму

(Гарун) ар-Рашид.

В старом арабском языке существительные и прилагательные изменялись по падежам; одно из окончаний именительного падежа было у.

В нынешнем арабском языке окончания падежей исчезли. Но коран читается по старому произношению, с окончаниями падежей. Это старое произношение и вообще считается наиболее правильным; но в разговорном языке оно употребляется лишь в некоторых сочетаниях слов. Когда слова читаются с окончаниями падежей и когда за словом, имеющим окончание падежа на гласный звук, следует член, присоединенный к слову, имеющему очень тесную грамматическую связь с предыдущим словом, то звук а в члене поглощается предшествующим ему звуком окончания падежа. Таким образом, когда имя

Гарун читается  
Гаруну,

то имя, которое в нынешнем разговорном языке произносится во всех падежах,

Гарун-аль-Рашид

произносится в именительном падеже по старому выговору

Гаруну-р-Рашиду.

Соответственно этому, имя халифа Гаруна, получившего название «справедливый»<sup>2</sup>, Рашид, пишется у разных ориенталистов в книгах на западных языках четырьмя способами:

Гарун-аль-Рашид  
Гарун-ар-Рашид,  
Гаруну-р-Рашид,  
Гаруну-р-Рашиду.

Одна из форм образования существительных в арабском языке имеет окончание — ат или — ет; когда слово этой формы

стоит в речи так, что не имеет особенно тесной связи с следующим словом, то в нынешнем выговоре звук т исчезает, заменяясь гортанным звуком, довольно близким к русскому звуку г в словах *господь, богатый*. Одно из слов этой арабской формы

давлат (государство);

оно входит в состав почетных названий очень многих высших сановников халифата, например: областных правителей или везирей, бывших в действительности государями, но считавших удобным для себя признавать на словах власть халифа, который и награждал их за уважение к нему почетными названиями: «защитник государства», «опора государства» и т. д.

Слово давлат, по разным способам его произношения, пишется на западных языках восемью разными способами:

давлат, давлет, девлат, девлет,  
давлà (daulah), давлé (dauleh) и проч.

Пользуясь книгами ориенталистов, писавших мусульманские имена разными способами, Вебер пишет их в разных отделах своего труда неодинаково соответственно неодинаковости правописания в книгах, служивших для него источниками.

В переводе эта шаткость правописания уменьшена по возможности; но для того, чтобы сделать в этом отношении все надобное, было бы необходимо делать справки, которые были неудобноисполнимы.

То же самое должно сказать и о многих других частностях перевода. Например, следовало бы восстанавливать во всех случаях точные титулы. Это могло быть сделано лишь в некоторых случаях. Поясним примерами.

Сановник, занимавший майнцскую кафедру, был архиепископ, а не простой епископ. Разница прав архиепископа от епископа в католической церкви средних веков была очень велика. Где речь идет о сановнике, занимающем майнцскую кафедру, там в переводе он, вероятно, всегда называется архиепископом; если в некоторых местах он назван в переводе просто епископом, это недосмотр; и конечно, следует досадовать на недосмотр; но можно и извинить его.

Гораздо хуже то, что относительно некоторых итальянских и французских кафедр не были при переводе сделаны справки, действительно ли простыми епископами оставались они в то время, о котором идет речь в рассказе, или уж имели тогда титул архиепископских.

То же самое относительно титулов: граф, маркграф и т. д. В некоторых случаях точность восстановлена; в других осталось, к сожалению, неизвестно, точен ли титул.

Дело в том, что в прежние времена историки часто путали титулы; остатки этих неточностей встречаются и в трудах новых историков, которыми пользовался Вебер; из их книг некоторые неточности перешли и в его работу. Само собой понятно, что иначе быть не могло; нельзя порицать Вебера за то, что он полагался на знаменитых авторов монографий, труды которых справедливо считаются очень основательными.

Притом, это мелочи; нет большой беды в том, что иной герцог назван иной раз маркграфом или иной маркграф иной раз герцогом. Совершенно иное дело — восхищение дурным, восхваление безрассудств и злодейств.

Если говорить собственно лишь о шестом томе, к переводу которого присоединено это предисловие, то должно сказать, что наиболее отвратительно в нем восхищение походами немцев в Италию. Ни за это, ни за другие подобные дурные чувства не должно порицать лично самого Вебера. Он лишь поддается увлечениям, господствующим в немецкой исторической литературе. Несправедливо было бы порицать и большинство немецких ли историков, или вообще немецких ученых писателей за эти дурные увлечения: самохвальство не особенность немцев, а вообще дурное качество огромного большинства людей всех наций: «мы» всегда правы, «мы» всегда хороши, кто бы ни были «мы», — немцы или французы, испанцы или венгры, китайцы или монголы; и насколько можно извлечь из какого-нибудь африканского или полинезийского людоеда исторические суждения широкого объема, он будет говорить то же; его племя — во всех своих столкновениях с другими племенами всегда было правым, и все подвиги его племени были благотворны и славны.

Не будем порицать немцев за то, что большинство их историков продолжает восхищаться победами своих предков в X, XI, XII веках в Италии. Но должно желать, чтобы распространялось в немецкой нации то справедливое мнение о средневековых походах в Италию, которое высказывается довольно многими из немецких ученых; эти походы, губительные для итальянцев, были губительны и для самих немцев; немецкое государство, окрепшее благодаря благоразумию Генриха I<sup>3</sup>, было расшатано походами Оттона I и следующих императоров в Италию; Гоэнштауфены своими войнами в Италии разрушили немецкое государство и погубили свою династию. Когда большинство образованных людей в Германии станет думать так, тогда — и только тогда — найдет справедливым это мнение и большинство немецких историков.

В переводе выброшены почти все лирические тирады, которых довольно много в рассказе Вебера об итальянских походах немцев.

Из рассказа Вебера о делах, происходивших в самой Германии, выброшены те мелочи, которые не интересны для людей других наций.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ  
«ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ.» ВЕБЕРА, Т. VII

С мыслью о переводе «Всеобщей истории» Вебера на русский язык соединялось намерение делать пополнения к этому трактату. Возможно полагать, что оно стало до некоторой степени удобным и исполнимым. Если окажется, что действительно так, то работа, начинаемая теперь, будет продолжаема.

ОЧЕРК НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ  
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

## 1

## О расах

Те различия, по которым человеческий род делится на расы, существуют с очень давних времен. Несколько десятилетий тому назад большинство специалистов по антропологии даже утверждало, что возникновение различий между расами совпадает с самым возникновением людей, что каждая раса — особый вид, имеющий свое особое происхождение. В ученых трактатах это мнение облекалось в ученую форму, выставлялось выводом из научных фактов. На самом деле, оно происходило из мотива, не имеющего ничего общего с научной истиной. Плантаторы рабовладельческих штатов Североамериканского Союза стали опасаться, что законодательная власть Союза отменит невольничество на всем пространстве Союза, как оно уж было отменено законодательными властями северных штатов в этих штатах. Подобные эпохи опасений были переживаемы рабовладельцами английских колоний и некоторых других колоний и государств. Но всё то были дела очень мелкие по сравнению с отменой невольничества в рабовладельческих штатах Североамериканского Союза. Кому, кроме филантропов или малочисленных людей очень прогрессивного образа мыслей, был интересен вопрос о невольничестве в государствах или колониях, не имевших важности ни для кого из людей, посторонних этим малонаселенным странам или мелким островам? Споры приверженцев и противников рабства в государствах, образовавшихся из прежних испанских владений в Америке, обращали на себя мало внимания за границами этих слабых государств. И какими учеными силами располагали защитники рабства в них? Понятно, что они имели очень мало влияния на мысли большинства антропологов. — Были рабовладельческие колонии у Франции, но они не имели сильного влияния на политическую жизнь даже и самой Франции. — Притом, рабовладельцы их были уверены, что пока будет существовать во Франции законное правительство, их интересы не будут подвергаться никакой опасности;

им могло не нравиться, что есть во Франции люди, говорящие против рабства; они могли опровергать порицателей его; но знали, что эти хулители бессильны, и сами едва ли много интересовались своей полемикой с ними; вели ее больше для удовлетворения правила, требующему не оставлять порицаний без ответа, чем по серьезной надобности возражать. Рабовладельцы английских колоний тоже не имели такого важного значения, чтобы хоть сама Англия внимательно вслушивалась в их голоса. Совершенно иной характер получил вопрос о невольничестве, когда аболиционисты \* в Североамериканском Союзе приобрели такое влияние на общественное мнение в свободных штатах, что плантаторы южных штатов стали опасаться отмены рабства законодательной властью Союза. Плантаторы южных штатов составляли могущественнейшую из политических партий в государстве, которое уж было одним из могущественнейших в целом свете и о котором предполагалось не одними его гражданами, но и большинством серьезных людей в Европе, что скоро оно станет могущественнейшим из всех государств. Рабовладельцы давно правили этим государством почти непрерывно; правили им совершенно непрерывно с той поры, когда противники невольничества стали приобретать влияние, опасное для них. Когда они серьезно встревожились за судьбу своих плантаций и увидели надобность защищаться от нападений аболиционистов, то нашлись у них на ораторскую, газетную, ученую борьбу громадные силы, как нашлись после на военную. Как при начале вооруженного столкновения большинство специалистов по военному делу стало на сторону рабовладельцев, так и в ученой борьбе плантаторы располагали трудом людей более авторитетных, чем антропологи аболиционистов. Достаточно припомнить, что в защиту рабства возвысил голос Агассиз <sup>4</sup>.

Рабовладельцы были люди белой расы, невольники — негры; потому защита рабства в ученых трактатах приняла форму теории о коренном различии между разными расами людей. Белая раса вполне обладает теми качествами ума и характера, какие нужны для разумного управления государственными делами и обширными частными предприятиями вроде больших фабрик или сельского хозяйства в большом размере; негры по природе своей лишены не только способности к политической жизни, но и способности разумно, трудолюбиво вести хозяйственные дела, потому не могут быть гражданами благоустроенного государства, а должны работать под распоряжением белых господ; их невольническое положение не только выгодно для их хозяев, но представляет и для них самих единственное избавление от нищеты; они так легкомысленны и ленивы, что без постороннего принуждения не могут добывать себе сытную пищу и хотя бы небольшие удобства жизни; это мы видим в Африке; там они бедствуют; у белых гос-

\* Сторонники отмены рабства негров. — Ред.

под в Америке они пользуются изобилием. Невольничество — благодетельное для них учреждение.

Южные штаты Североамериканского Союза были не первые могущественные общества, устроенные на основании рабовладения. Теория, излагаемая учеными защитниками рабства в южных штатах, была не нова в своей сущности: уже греки оправдывали свою власть над рабами тем, что масса рабов — люди другой природы. Это говорит, например, Аристотель: он делит людей на разряды, из которых один самой природой предназначен владеть над другим, предназначенным природой для рабства.

Интересы рабовладения были не единственным источником господствовавшего у греков (и у римлян) мнения, что есть народы, которые предназначены природой к рабству, как они предназначены к свободе. Самолюбие бывает и бескорыстно; защитники рабства в древнем мире держались своего учения не только по расчету выгод, но и по тщеславию. Под влиянием уважения к общественному устройству и мыслям греков и римлян образованное общество новой Европы оставалось не чуждо склонности хвалить рабство и после того, как оно исчезло в ней. Специалисты по наукам о человеке разделяли эту склонность общества, к которому принадлежали. Но и само оно и его специалисты по наукам о человеке перестали чувствовать живой интерес к рассуждениям этого рода, когда стало очевидно, что рабство в Европе исчезло безвозвратно. Ученые защитники его повторяли привычные старые мысли, но не имели влечения много заниматься ими; вопрос оставался приблизительно на той степени разработки, какую дали ему Аристотель и другие греческие защитники рабства. Вялые повторения старины, которыми ограничивались похвалы рабству в XVIII веке, мало соответствовали тогдашнему состоянию знаний о физической природе человека, гораздо более высокому, чем во времена Аристотеля.

Но когда встревожились за свое рабовладение плантаторы южных штатов, ученые рассуждения в защиту рабства быстро получили такую разработку, какая была нужна для опровержения мыслей партии, сделавшейся опасною для рабовладельцев южных штатов. Это было в первой половине нашего века. Учение об отношениях между группами живых существ было основано тогда на мысли, что существа, имеющие общее происхождение, имеют потомство, способное рождать детей, в свою очередь способных иметь детей таких же плодородных. Теория сообразности рабства негров с природой была сделана выводом из этого учения. Она приняла такой вид:

От сожительства белых мужчин с негритянками или негров с белыми женщинами дети рождаются не в таком большом числе, как от сожительства белых мужчин с белыми женщинами или негров с негритянками. Дети, родившиеся от сожительства людей белой расы с людьми черной, гораздо менее способны иметь, в свою оче-

редь, детей, чем люди белой расы или черной расы. Таким образом, средняя раса (мулатская) очень быстро вымирает, если число ее не поддерживается новыми рожденьями от сожительства белых людей с черными. Мулаты и мулатки не способны поддерживать существование своей расы сожительством между собою. Что следует из того? — Вывод таков:

Сравнивая этот факт с результатами, производимыми сожительством самцов одного вида млекопитающих с самками другого, мы находим, что разница между белыми и черными людьми менее велика, нежели разница между лошадьёю и ослом, но более велика, чем разница между волком и собакой. Дети жеребца и ослицы или осла и кобылы совершенно бесплодны; дети волка и суки или кобеля и волчихи совершенно плодородны. Мулаты и мулатки не совершенно бесплодны, как мулы и лошаки, но несравненно менее плодородны, нежели ублюдки от сожительства волков с собаками.

Ясно, что как о волках мы имеем понятия иные, чем о собаках, и отношения наши к этим двум разным видам млекопитающих не одинаковы; и что как нельзя требовать или ожидать от осла тех качеств, которыми заслуживает наше сочувствие и уважение лошадь, так и о неграх мы не должны судить по тем понятиям, какие имеем о белых, и общественное положение негров должно быть совершенно иное, чем положение белых.

Вообразим себе, что нам необходимо, чтобы волк жил на нашем дворе; можем ли мы оставлять его на свободе, как оставляем собаку? Нет, этим мы только сделали бы вред себе и погубили бы волка. Быть может, он растерзал бы нас; еще скорее, он бросился бы резать домашний скот на нашем и соседних дворах. В том и другом случае он был бы убит. Будем же держать его на цепи. Это будет счастье для него. Он будет сыт у нас, а у себя в лесу он постоянно мучился голодом.

Плантаторы были так могущественны, что ссориться с ними осторожные люди северных штатов считали делом очень опасным. Они заявляли, что если законодательная власть Союза нарушит их рабовладельческие права, их штаты отделятся от Союза и составят особую конфедерацию. Большинство населения свободных штатов пугалось этой угрозы, делало уступки плантаторам, предоставляло им управление Союзом. В книгах уступчивость отражалась тем, что ученые северных штатов переходили на сторону защитников плантаторской теории рас. Так, например, сам Агассиз, сильнейший боец за нее, был профессором в северных штатах, но совершенно подчинялся влиянию плантаторов. Само собою разумеется, что когда люди принимают чужие мнения по боязни ссоры, большинство этих сговорчивых прозелитов воображает себя действующим не по каким-нибудь предосудительным мотивам, не по робости или житейскому расчету, а по искреннему убеждению.

В этом состоит извинение таким людям, как Агассиз. Вероятно, ему воображалось, что он говорит по совести, а не по раболепству.

Как ученые в северных штатах подчинялись авторитету южных защитников рабства, так большинство европейских ученых подчинилось по вопросу о расах авторитету североамериканских ученых. И действительно, как было не принять теорию о коренной разнице рас? Мулаты и мулатки бесплодней ублюдков волка и собаки; это говорили североамериканские ученые; они изучили факты на месте. Следовало верить им.

Но следовало бы также подумать о том, беспристрастны ли они, действительно ли они изучили факты, о которых говорят с такою уверенностью, добросовестно ли они передают хотя бы те факты, которые ясны и без особенного изучения сами бросаются в глаза. Европейские ученые не считали нужным этого; они были белые, плантаторское учение о расах льстило белой расе; какая же охота была им сомневаться в его основательности?

Северные штаты робели плантаторов. Европа слышала, что плантаторы грозят расторжением Союза; она знала, что результатом отпадения была бы междоусобная война; междоусобие помешало бы работе на хлопчатобумажных плантациях, Европа терпела бы недостаток в хлопке. И что было бы, если бы война кончилась победой северных штатов? Рабство было бы отменено; освобожденные негры не стали бы работать, потому что они ленивые животные, не желающие приобретать удобств жизни трудом, предпочитающие животную нищету работе. Белые люди не могут работать на хлопчатобумажных плантациях, к этому способны только негры — так говорили плантаторы, и Европа верила им. В случае победы северных штатов Европа останется без хлопка, подвергнется очень тяжелому экономическому бедствию; потому Европе надобно желать, чтобы северные штаты продолжали подчиняться южным и чтобы продолжало существовать в южных штатах невольничество. Так думало тогда большинство влиятельных людей в Европе.

Но бедствие, которого так опасались уступчивые люди в северных штатах, которое пугало и Европу, произошло. Плантаторы отложились от Союза, началась междоусобная война, она длилась почти четыре года; подвоз хлопка из южных штатов в Европу остановился; те части Европы, в которых была развита хлопчатобумажная промышленность, подверглись тяжким, продолжительным страданиям. Война кончилась отменю невольничества в южных штатах. Безрассудная часть плантаторской партии мечтала о его восстановлении. Большинство плантаторов скоро убедилось, что восстановить его нельзя. Вопрос о невольничестве перестал иметь политическое значение, сделался предметом исключительно научного исследования. Что же тогда оказалось? Факты свидетельствуют противное тому, что говорили о бесплодии мулатской

расы ученые защитники невольничества, — относительно плодородия мулаты и мулатки нисколько не отличаются от белых и черных.

Предлогом говорить об их бесплодии служило то обстоятельство, что очень многие мулатки действительно или оставались бесплодными, хотя имели сожителство с мужчинами, или если рождали детей, то дети их умирали в громадной пропорции, не достигая взрослых лет. Но оказалось, что эти мулатки вели такой образ жизни, который производит те же самые результаты у женщин всякой расы, белой ли, желтой ли, или черной; а те мулатки, которые вели образ жизни, удовлетворяющий общим для всех рас условиям плодородия женщин и здорового роста их детей, имели столько же детей, как ариянки, монголянки или негритянки, ведущие такой же образ жизни, и дети у них вырастали такими же здоровыми, как у женщин этих рас.

Люди, не знающие, какое влияние имеет живое общественное мнение на мысли ученых, дивились тому, что можно было с такой беззаботностью о правде утверждать, будто бы мулатки мало способны иметь многочисленных здоровых детей. Был курьез еще более странный. На той степени плодородия ублюдков, при которой их потомство могло бы существовать неопределенное число поколений, не уменьшаясь или даже увеличиваясь в числе, очень часто был наблюдаем факт, что тип этого потомства неустойчив; дети не сохраняют типа своих родителей-ублюдков, а возвращаются к типу той или другой из рас, от которых произошли родители-ублюдки. Так, например, было замечено, что если от сожителства животных белой породы с животными черной породы произошли пестрые дети, то у этих пестрых детей лишь немногие дети будут пестрые, а большинство будут или белые, или черные. Едва ли наблюдения о цвете потомства млекопитающих разного цвета анализированы с достаточной точностью. Но предположим, что они совершенно достоверны. Ученые защитники невольничества переносили на мулатов и мулаток то наблюдение, которое считалось достоверным относительно пестрых детей, рождающихся от сожителства овец или собак разного цвета. Они говорили: мулатский тип не имеет устойчивости; дети мулата и мулатки не походят на своих родителей, уклоняются от них или к белому, или к негритянскому типу; дети тех, которые приблизились, например, к негритянскому типу, будут еще ближе к нему, чем их родители, и таким образом через небольшое число поколений потомки мулата и мулатки становятся совершенными неграми.

Чтоб определительно судить о плодородии или бесплодии людей какого-нибудь типа, нужно иметь статистические сведения. Понятно, что масса общества может быть обманываема в этом деле самоуверенностью тона специалистов; понятно и то, что специалисты, не имеющие под руками статистических цифр, могут быть вводимы в ошибку доверием к товарищам, говорящим само-

уверенно. Но вопрос о сходстве детей с родителями решается без всяких ученых пособий прямым наглядным впечатлением. Каждому, живущему в рабовладельческой стране, было превосходно известно, что дети мулата и мулатки имеют точно такое же сходство с родителями, как дети белых людей или негров; что поэтому мулатский тип очень устойчив. Но обществу рабовладельческих земель угодно было пренебрегать этим своим знанием и повторять приятные для него слова ученых защитников рабства, что дети мулата и мулатки не сохраняют типа родителей.

Как объяснить возможность такого противоречия наглядной истине? Подлог был произведен способом очень бесцеремонным, но вполне пригодившимся для получения приятной лжи. Мулаты и мулатки в Соединенных Штатах не составляли отдельного общества, не жили вместе сплошными группами. Мулат или мулатка обыкновенно жили в доме или хижине белого или черного семейства. Мулатам чаще случалось быть любовниками или мужьями негритянок, чем мулаток; мулаткам чаще случалось быть любовницами белых или женами негров, чем любовницами или женами мулатов. Дети мулатки от негра в большинстве случаев, разумеется, имели тип средний между отцом и матерью, то есть более походили на негров или негритянок, чем их мать. Дочери этих дочерей, становясь женами негров, имели детей еще более близких к негритянскому типу. То же самое, только в обратном направлении, происходило при сожительстве мулатки с белым, их дочерей с белыми. Ступени генеалогии, приближающей потомство мулатки к белому типу, были определены с полной точностью, и по крайней мере на первых ступенях признаки были так ясны, что каждый в рабовладельческой стране по одному взгляду с достоверностью узнавал генеалогическую степень человека, имеющего тип средний между мулатским и белым. Дочь мулатки и белого была терцеронка: дочь терцеронки и белого была квартеронка; признаки терцеронки были так резки, что никто не мог принимать ее ни за мулатку, ни за квартеронку; каждый видел, что она терцеронка. Дочь квартеронки и белого уже трудно было отличить от белой человеку, не жившему в рабовладельческой земле; когда ее потомки еще два или три поколения имели детей от белых, то ее потомки становились трудно различимы от белых и для опытного наблюдателя. В десятом или двенадцатом поколении они уж становились неразличимы от белых и для опытного взгляда. Словом, дело шло по тем же законам, как при сожительстве всяких людей какого-нибудь типа с людьми какого-нибудь другого типа, как, например, при сожительстве потомства испанца и француженки с людьми французской национальности или потомства каталонца и андалузанки с людьми каталонского племени. А когда люди мулатского типа сожительствовали между собой, то их тип оставался прочен в их потомстве. Это было известно всем в рабовладельческих штатах; но приверженцам рабовладения угодно было

повторять полезную для защиты невольничества ложь, будто бы мулатский тип неустойчив.

Теперь все рассуждения о бесплодии мулаток, или о неустойчивости мулатского типа, отброшены серьезными антропологами, как пустые выдумки ученых, бывших прислужниками рабовладельцев.

Классификация рас остается до сих пор очень шаткой в своих подробностях. Специалисты, справедливо признаваемые наиболее компетентными судьями по вопросам этого рода, не сходятся между собою в том, сколько коренных рас должно считать. И последователи известного способа классификации не сходятся между собою в мнениях, к той или другой из принимаемых ими рас причислить то или другое племя. Признаки, по которым следует делить людей на расы, тоже остаются предметом споров.

Наиболее популярный признак расы — цвет кожи. Но есть авторитетные специалисты, находящие, что он имеет очень мало научного значения. Некоторые из них думают, что гораздо важнее разница по форме волос на голове; они делят людей на три основные расы: у одной из них волосы имеют в поперечном разрезе круглую форму; эти волосы нисколько не вьются; у другой расы разрез волоса головы — эллипс не очень стиснутый; эти волосы слегка вьются; у третьей расы разрез волоса головы — эллипс очень сплюснутый, так что волос походит на ленту с закругленными коймами; такие волосы курчавы, как овечья шерсть. Вообще эта классификация довольно близко совпадает с делением людей на желтую, белую и черную расы. Она замечательна тем, что порядок рас в ней не тот, как в классификации по цвету кожи, в которой на одном конце порядка стоит белая раса, на другом черная, — желтая занимает середину между ними; в классификации по форме волос головы масса народов, составляющих белую расу, занимает середину между народами желтой и черной рас. Без сомнения, несравненно большую важность имеют различия формы головы. Их можно подводить под две разные точки зрения; с одной — коренным принципом деления принимается собственно форма черепа, с другой — форма профиля. Но и по форме профиля, и по форме черепа выводы относительно деления людей на расы получаются приблизительно одинаковые; исключения есть, но вообще овальный череп соединен с так называемым кавказским (или греческим, европейским) профилем; угловатый череп — с плоским (китайским, монгольским) профилем; длинный и приплюснутый череп — с негритянским профилем. Форма черепа и профиля, как всеми признано, несравненно важнее цвета кожи и формы волос головы, но некоторые специалисты не считают удобным ставить ее важнейшим основанием классификации рас, потому что она менее устойчива, чем цвет кожи и форма волос. Так, например, замечено, что дети американских негров, купленных в Африке, вообще имеют очертание профиля менее далекое

от арийского, чем их отцы; с каждым поколением это изменение развивается. Правда, что и теперь негры Соединенных Штатов остаются все еще очень не похожи на арийцев чертами лица; но вообще они потомки африканских негров лишь в четвертом, много пятом поколении. В Африке встречается большая разница профиля между племенами одинакового цвета кожи и одинаковой формы волос головы. Некоторые из них имеют профиль очень похожий на арийский. Возможно, что причина этой разницы — неодинаковость истории племен. Те, которые имели очень долго жизнь менее бедственную, чем другие, и сделали людьми несколько более развитыми в умственном и нравственном отношении, приобрели формы головы, более подобные формам народов, давно вышедших из дикого состояния; потом их материальное и нравственное положение ухудшилось, но медленные перемены в чертах лица, производимые понижением быта, еще не успели развиться вполне, а понизившись до прежнего дикого состояния, эти племена еще сохранили черты прежнего более высокого развития. Впрочем, кажется, что это объяснение основано только на аналогии; едва ли найдены какие-нибудь факты, прямо подтверждающие его. Аналогия — аргумент, не заслуживающий серьезного доверия.

По нынешним понятиям вопрос о происхождении рас представляется в следующем виде:

Не только такие группы живых существ, как волк, собака и близкие к ним виды, или как лошадь и осел и очень сходные с ними виды, но и все млекопитающие, несомненно, имеют общее происхождение. Таким образом, бесплодие сожительства млекопитающих разных групп вовсе не относится к делу, когда речь идет о том, имеют ли они общее происхождение. Они все имеют его. Бесплодие свидетельствует вовсе не о разнице происхождения, а только о том, что разница в устройстве организма сожительства существ более велика, чем было бы совместно с возможностью для них иметь детей. Происхождение этой разницы чисто историческое. Если существа двух групп имеют от своего сожительства детей, но их дети бесплодны, это значит, что их организмы более различны, нежели было бы совместно с рождением плодородного потомства.

Разные расы людей производят на обыкновенного наблюдателя-неспециалиста очень неодинаковое впечатление по цвету кожи, характеру волос головы, формам черепа и профиля; но он видит, что все это существа одинаковые в той же степени, как одинаковы, например, разные породы обыкновенной домашней (европейской, то есть собственно египетской) кошки или европейского медведя. Это простое мнение массы людей вполне подтверждено теперь наукой. — Ни в какой породе млекопитающих нельзя найти два существа, которые были бы безусловно одинаковы; у тех млекопитающих, которые рожают несколько детей в одно время, дети,

родившиеся одновременно, все-таки несколько отличаются одно от другого. Потому, когда речь идет о тождестве организации двух млекопитающих одной породы, научный смысл слов «их организация тождественна» состоит не в том, что между ними нет никаких разниц, а только в том, что разницы очень незначительны сравнительно с элементами тождества.

В этом смысле имеем ли мы право сказать, что все расы людей тождественны не только по своей организации, но и по своим умственным и нравственным качествам? В XVIII веке было сильно распространено между передовыми людьми мнение, что должно сказать так. Они говорили о единстве человеческой природы в выражениях очень широких и сильных. Некоторые из знаменитых мыслителей, воспитавшихся в конце того периода, сохранили это убеждение на всю жизнь. Например, Песталоцци и Гегель продолжали в двадцатых годах нашего века говорить о тождестве людей безоговорочным тоном Руссо: каждый человек, родящийся здоровым, рождается с теми же склонностями, как всякий другой, природная разница умственных и нравственных сил людей, родящихся не больными, а здоровыми, очень невелика. Но лет через десять или двадцать оставалось уже очень мало ученых, которые не смеялись бы над этим мнением, как чрезмерно наивным. Пренебрежение к нему было одним из частных результатов ненависти к теориям XVIII века. Но время ненависти прошло, и новые поколения стали находить, что мыслители XVIII века были менее наивны, чем казалось поколениям, ненавидевшим его. Одним из результатов этой перемены было возникновение того направления, которое теперь стало господствующим в естествознании. По применению к частному вопросу о человеческих расах его можно характеризовать так: разницы между расами проникают всю организацию; не только форма черепа и профиля или ступни ноги у каждой расы своя особенная, но и каждая кость, каждый мускул, каждая железа имеет у каждой расы свои особенности; не только передние полушария головного мозга имеют у каждой расы некоторые особенности, имеет их и каждый нерв желудка или ноги; но все эти разницы довольно незначительны сравнительно с элементами тождества в организации всех рас.

Естествознание приняло господствующее теперь направление очень недавно; натуралисты еще не очень пожилых лет учились по книгам противоположного направления. Дело только начинается, и, как далеко пойдет оно в своем развитии, нельзя сказать определенно. Но по крайней мере до сих пор быстро ослабевает в науке значение разниц между расами. Специалисты не какие-нибудь люди особой породы; огромное большинство их, подобно огромному большинству всяких других людей, подчиняется общественному мнению, которое вырабатывается под преобладающим влиянием событий. Потому дальнейший ход этого, как и вся-

кого другого, ученого дела очень много зависит от хода событий. Говорят иногда, что мысли натуралистов имеют основу совершенно твердую, так что не могут поддаваться требованиям общественного мнения. Конечно, не только астрономия, но и физиология должны быть названы системами понятий очень прочных сравнительно с теориями политических и общественных наук. Но припомним факты из истории не то что физиологии, а самой астрономии. Пусть очень простительно было Тихо де Браге изобретать свою систему для того, чтоб уклоняться от научной надобности признать систему Коперника, держаться которой было бы для него если не так опасно, как для Галилея, то все-таки неудобно. Но какие серьезные неприятности могли угрожать французским астрономам конца XVII и начала XVIII века, если бы они приняли теорию Ньютона? Неудобств от этого не было им никаких; но они были французы; они жили во французском обществе: оно предпочитало астрономическую систему своего соотечественника Декарта системе англичанина Ньютона; и несколько десятилетий большинство французских астрономов отвергало теорию Ньютона, защищало теорию Декарта.

Между специалистами по антропологии много споров о том, какие различия должны быть принимаемы за основание классификации людей по расам, сколько коренных рас должно считать, к какой расе или к какой помеси рас должно относить то или другое племя. Но факты, которые совершенно достоверны, охватывают огромное большинство человеческого рода. Для людей, ищущих в антропологии решения важных исторических вопросов, эти бесспорные факты достаточны.

На сколько именно рас делятся люди — вопрос, не имеющий очень большого значения для истории человечества. Важны только три расы: белая, желтая и черная, или раса с вьющимися волосами головы, прямыми волосами и волосами, подобными шерсти, или раса с овальным черепом, рельефным профилем, не выдающейся вперед нижней челюстью, раса с угловатым черепом, плоским лицом, нижней челюстью, не выдающейся вперед, и раса с приплюснутым черепом, плоским лицом, нижней челюстью, сильно выдающейся вперед. Эти три расы составляют, вероятно, более девяти десятых частей общего населения земного шара. Если принимать какие-нибудь другие расы за коренные, то все вместе они и незначительны числом и сравнительно не важны историческим значением. И ни об одном из народов или племен, занимающих важное место в нынешнем составе рода человеческого, нет сомнений, к какой расе должно отнести его; точно так же нет этого сомнения почти ни об одном из народов, имевших важное значение в истории человечества, если до нас дошли сколько-нибудь точные известия о его наружности. Этого достаточно для исследователя или рассказчика всеобщей истории. Если о каком-нибудь народе, имевшем довольно важное значение в истории челове-

ства, нам неизвестно с полной достоверностью, к какой расе принадлежал он, то неудовлетворительность наших сведений о нем заключается не собственно в недостатке известий о его наружности, а вообще в недостаточности известий о нем.

Все расы произошли от одних предков. Все особенности, которыми отличаются они одна от другой, имеют историческое происхождение. Но какую степень устойчивости имеют их особенности? — не все одинаковую. Цвет кожи негров очень устойчив. Едва ли можно полагать, что через двадцать поколений негры, живущие в стране русого народа, имеющего очень белую кожу, могут стать имеющими кожу значительно менее черную, чем имело первое поколение. Желтая кожа и белая кожа гораздо быстрее принимают оттенки, сближающие их по цвету. Собственно говоря, цвет кожи монгола, ставшего светлым, сохраняет свою особенность колорита, не одинаков с цветом кожи очень смуглого человека чистой арийской расы; многие люди монгольской расы имеют очень светлую кожу, но, всматриваясь, все-таки можно видеть, что это не белый цвет, а только посветлевший желтый и наоборот, у арийцев, очень смуглых, все-таки видно, что цвет их кожи — не желтый, а потемневший белый. Так по крайней мере говорят специалисты. И едва ли будет легковерием считать это правдой. Относительно формы черепа достоверно известно, что с развитием умственной жизни людей какого-нибудь племени лоб их становится выше; с этим соединено уменьшение длины нижней челюсти, так что изменяется профиль, происходит увеличение так называемого лицевого угла. С какой степенью быстроты может происходить эта перемена и какой величины может достигать она, еще не исследовано определительным образом. Но по личным отрывочным наблюдениям известно много случаев, что лоб правнуков имел гораздо более высоты, чем какой имели прадеды. У многих племен и народов замечено, что высшее сословие имеет более развитый лоб, нежели масса населения. В некоторых случаях это объясняется разностью происхождения. Но встречается много случаев, в которых достоверно известна одинаковость происхождения высшего и низшего сословий; тут очевидно, что разница профиля произведена различием материальной и умственной жизни.

Белые люди всегда считали свою расу лучше желтой расы и были расположены презирать черную. Люди этих рас думают о себе, кажется, очень неодинаково: есть много известий, что монголы считали черты лица своей расы более красивыми, чем профиль белой расы; но много известий и о том, что они признавали людей белой расы более красивыми, чем своих соплеменников. Между неграми некоторые также предпочитают свою расу белой, другие — белую своей. То, что многие из желтых и черных людей находят белую расу более красивою, чем свою, может служить подтверждением высокого мнения белых людей о красивости своей

расы. Но если огромное большинство желтых и черных людей имеет лица некрасивые на взгляд белых, то следовало бы разоб-  
раться, насколько в этом впечатлении участвуют обстоятельства, посторонние сущности вопроса, как, например, то, что материальное положение желтых и черных людей хуже положения белых и умственная жизнь их менее развита. Могут ли желтые и черные люди при обстоятельствах, благоприятствующих приобретению красоты, делаться очень красивыми на взгляд белых людей? — Мы имеем множество свидетельств белых путешественников о том, что есть племена негритянской расы, имеющие очень красивые черты лица; эти племена встречаются вдали от моря, где жизнь менее тяжела для негров, нежели в приморских частях Африки. Все белые люди, бывавшие в Японии, говорят, что многие японки очень красивы лицом. Цвет кожи, красивость лица — не такие особенности, которые имели бы прямую связь с умом и характером. Относительно цвета кожи понятно само собой, что он не имеет непосредственного отношения к деятельности головного мозга. Нельзя найти никаких физиологических причин, почему белый, или желтый, или черный цвет кожи мог бы считаться благоприятным или неблагоприятным для высокого развития умственной жизни или результатом какого-нибудь ее состояния. Но у нас есть сильное влечение предполагать хорошие умственные и нравственные качества в людях, красивых лицом; и можно думать, что эта связь до некоторой степени действительно существует: красивые черты лица — результат хорошей организации всего тела; хорошая организация тела не может не быть признана основой для хорошей деятельности головного мозга. Но хотя эти условия и должны считаться коренными, развитие нравственной и умственной жизни человека подвергается таким сильным посторонним влияниям, что результат чрезвычайно часто оказывается несоответствующим характеру личной организации. Людям красивым следовало бы быть умными и добрыми; никто не собирал данных о том, какова пропорция умных и добрых людей между ними, — более ли велика она между ними, нежели между некрасивыми людьми (того же общественного положения); но каждому из нас известно по личному житейскому опыту, что между красивыми людьми встречается очень много недалеких по уму и не заслуживающих симпатии по характеру. Люди очень некрасивые лицом должны были бы быть гораздо ниже красивых по уму и качествам характера. Но каждому из нас известно, что многие очень некрасивые люди очень добры и умны. Дело в том, что наружность человека может пострадать от влияний, которые не будут проникать в глубину организма; профиль испортится, а головной мозг не пострадает; наоборот, могут быть влияния, которые испортят головной мозг, не испортив профиля. Вообще, достоверные сведения об уме и характере человека мы до сих пор не можем приобретать никакими рассуждениями по каким-нибудь

общим основаниям. Они приобретаются только изучением поступков этого человека.

Это говорено было собственно по вопросу о связи красоты лица с умственными и нравственными качествами. Иное дело придавленность передней части черепа; она, конечно, прямо показывает, что у человека мало развиты передние части головного мозга. Потому, те негритянские племена, у которых передняя часть черепа очень придавлена, конечно, имеют передние части головного мозга мало развитыми. Но вопрос вовсе не в том, низко ли нынешнее состояние их умственной жизни, а в том, способны ли они к высокой цивилизации, может ли развиться передняя часть головного мозга их, подняться их лоб. Факты показывают, что может.

Пока существовало невольничество в Соединенных Штатах, полемика должна была идти о том, способны или неспособны негры быть гражданами благоустроенного государства. Теперь спор об этом сделался излишним. Они получили права граждан и пользуются ими точно так же, как те части белого населения Соединенных Штатов, которые по несчастным обстоятельствам своей истории находятся еще на низкой степени развития. Нет никакой разницы между тем, как вотирует большинство ирландцев, переселившихся в Америку уже немолодыми людьми, и большинство негров: те и другие одинаково поддаются проискам интригантов. Как будут вотировать негры Соединенных Штатов через несколько десятков лет — мы не знаем, но беспристрастные люди говорят, что уже теперь, через двадцать лет по приобретении права голоса, они пользуются им гораздо рассудительнее, чем вначале.

Впрочем, вопрос о неграх утратил прежнее значение по их освобождении в Соединенных Штатах. Там, где освобождены, они по закону пользуются всеми или почти всеми правами свободных граждан и если подвергаются каким-нибудь стеснениям в общественной жизни от обычаев, усвоенных белыми в рабовладельческие времена, то эти стеснения заметно уменьшаются по мере того, как белые теряют рабовладельческие привычки. Отмена невольничества на Кубе и в Бразилии — дело близкого времени; в том не сомневаются сами рабовладельцы. — Очень вероятно, что через несколько времени возникнут в Африке отношения, при которых вопрос о людях негритянской расы получит очень большую важность: белые с юга и в особенности с запада надвигаются на ту часть Африки, которая населена неграми. Этими будущими отношениями можно и теперь сильно интересоваться, но мы еще не имеем достаточных данных для того, чтобы предугадывать, какова будет участь негров в Африке при распространении владения или очень сильного влияния белых на их земли.

В настоящее время из вопросов о расах наиболее важны относящиеся к желтой расе. Она гораздо многочисленнее черной, при-

том никто не сомневается в способности желтых людей иметь большие благоустроенные государства с нынешнею принадлежностью больших держав — многочисленным хорошо дисциплинированным войском. Часто встречаются рассуждения о том, не предстоит ли европейским государствам очень большая опасность от Китая, население которого так многочисленно. По пропорции числа войск во Франции, Германии, России, Китай может сформировать 15 или 20 миллионов войска, и если приобретет достаточные денежные средства, то может послать на Европу 7 или даже 10 миллионов воинов. При нынешних отношениях между европейскими государствами нет никакой вероятности, чтоб они соединились для общей обороны; напротив, они стали бы держаться так, как государства древней Греции при нашествиях македонян. Есть в Европе довольно много людей, предполагающих вероятность подавления Европы китайцами. Эти страхи фантастичны: когда китайцы усвоят себе европейские искусства настолько, чтобы войска их стали не то что очень хороши, а хотя бы только не хуже нынешних турецких, Китай уже не будет одним государством. Теперь разные племена китайского народа остаются соединены в одно государство только потому, что еще не умеют защитить свою самостоятельность от иноземного ига.

Но не фантастический, а реальный интерес имеет вопрос о желтой расе с иной стороны: способна ли или не способна приобрести очень высокое умственное и нравственное развитие раса, к которой принадлежит половина человеческого рода? До недавнего времени у европейских ученых владычествовали о желтой расе понятия презрительные. Негры были не люди, а животные; о расе, имевшей великих мыслителей, сделавшей великие технические открытия, нельзя было говорить таким тоном, как о неграх; китайцев нельзя было не признавать людьми. Но они были люди низшей породы. Умственная и нравственная организация их имела черты, существенно отличные от качеств, составляющих истинное человеческое достоинство белой расы. В те времена предполагалось, что фантазия — собственно человеческое качество; животные тогда не имели фантазии. Теперь имеют; мы знаем, что она — одна из неизбежных функций мышления, и что каждое существо, имеющее какие-нибудь представления, необходимо имеет в числе их и некоторые представления, соответствующие не действительным впечатлениям, а комбинациям их, то есть представления, принадлежащие области воображения. Но в те времена не хотели знать этого; ученые на одной странице трактата писали о собаках и кошках, видящих сны, а на следующей преспокойно толковали, что животные не имеют воображения; впрочем, в те времена животные не имели способности мыслить. О китайцах нельзя было сказать, что они лишены способности мыслить, но воображение у них было чрезвычайно слабо. Они были способны только заботиться о материальных выгодах, в этом и состояло все их мышле-

ние. Когда думаешь исключительно о своих житейских делах, то, разумеется, для фантазии тут очень мало простора. Вот именно в таком состоянии находились китайцы: по свойству своей расы думать только о житейских делах, они не имели надобности в воображении, и природа не сделала им никакого огорчения, лишив их этой высшей человеческой способности. Правда, результаты такой скупости природы относительно наделения китайцев человеческими качествами были очень важны в материальном отношении; лишенные фантазии, китайцы не могли создавать никаких идеалов, тем менее могли стремиться к их осуществлению; лишенные идеалов, они не могли представить себе ничего лучше той обстановки, в какой жили, ничего лучше обычаев, каких держались; из этого происходил роковой закон их жизни: неподвижность. Китайская история вполне подтверждала это: если европеец писал хоть десять строк, имеющих какое-нибудь отношение к китайской истории, то в этих десяти строках непременно находилось место для замечания, что китайцы живут теперь точно так же, как жили за 2000 лет до нашей эры, что с той поры не произошло никакой перемены в китайских обычаях, никакого изменения в китайских понятиях о вещах. Вообще, очень странные люди были китайцы.

Это, впрочем, и было натурально, потому что желтая раса имела свое особое происхождение, различное от белой. Люди, имевшие совершенно различное происхождение, разумеется, должны были быть существенно различны между собой.

Но теперь — увы! — нам, белым, никак нельзя оставаться при мысли, что белая и желтая расы — две группы существ разного происхождения. Китайцы произошли от тех же самых предков, как и мы. — Они не особенная порода людей, а люди одной с нами породы; потому они должны подлежать тем же законам жизни и мышления, как и мы, должны, между прочим, иметь и фантазию. Говоря серьезно, трудно представить себе при нынешнем состоянии антропологии возможность тех странных мнений о китайцах, которые еще недавно казались большинству ученых рассудительными. При внимательном наблюдении невозможно не видеть, что желтые люди думают и чувствуют совершенно то же, что белые люди на подобной им степени развития. Те особенности, какие мы замечаем в китайцах, — не особенности китайцев, а общие качества людей данного исторического состояния и общественного положения. Говорят, например, что китайцы очень трудолюбивы и довольствуются очень малым. Это общие свойства людей, предки которых с давнего времени вели оседлую жизнь, жили своим трудом, а не грабежом, жили в угнетении, жили бедно. Те части каждого из европейских народов, которые подходят под эти условия, точно так же трудолюбивы, как китайцы, точно так же довольствуются скудным вознаграждением. Точно то же оказывается и относительно других так называемых особенностей китайца: это —

не особенности китайца, а общие качества всех людей, всех рас, в том числе и белых людей соответствующего положения.

Остается сказать в частности об одной из мнимых китайских особенностей, о так называемой неподвижности китайского быта и китайских понятий. Китайская история имеет те же самые черты, как история всякого народа при таких же обстоятельствах. Теперь известно, что жизнь каждого цивилизованного народа подвергалась при некоторых сочетаниях обстоятельств упадку; самым обыкновенным из этих понижающих цивилизацию фактов было опустошение страны нашествием иноземцев. В крайней своей степени это бедствие получало устойчивый характер под формой иноземного владычества. В истории Западной Европы такими бедствиями были, например, нашествие гуннов, потом набеги венгров, наконец, нашествие турок. Развернем какой случится трактат об истории Западной Европы; в каждом мы найдем одно и то же совершенно справедливое замечание, что эти бедствия надолго роняли благосостояние и культуру народов, подвергавшихся им. Для ясности сравним китайскую историю с английской. Англия не подвергалась иноземному завоеванию со второй половины XI века. Население Англии имело время отдохнуть, оправиться и, поднявшись до прежнего уровня благосостояния и культуры, сделать новые успехи. Разверните историю Китая и сосчитайте, сколько раз в это время подвергался он завоеванию варварами. Китайская история не неподвижность, а ряд падений цивилизации под гнетом нашествий и завоеваний варваров. После каждого упадка китайцы оправлялись, успевали иногда подняться до прежнего уровня, иногда и выше его, но снова падали под ударами варваров. Почему варварам удавалось одолевать народ цивилизованный и более многочисленный, чем они, вопрос, требующий особого разъяснения, но он относится не к одной китайской истории: бывали покоряемы сравнительно малочисленными варварскими племенами и другие цивилизованные народы; бывало это и в западной Азии, и в Европе.

Нет сомнения, что люди желтой расы имеют какие-нибудь природные различия от людей белой расы в своей умственной и нравственной организации, потому что всякому наружному различию должно соответствовать какое-нибудь различие и в устройстве головного мозга; но связь этих различий, или маловажных, или изменчивых, остается еще не исследованной и потому ставить ее принципом объяснения каких-нибудь определенных фактов умственной или нравственной жизни, значит придавать важность мелочам и говорить наудачу пустяки без всякого научного основания. Чтобы видеть, как шатки объяснения подобного рода, сделаем обзор родства тех млекопитающих, которые особенно хорошо знакомы всем нам.

Лошадь довольно послушная служительница человека, осел, близкий родственник ее, тоже служит нам; но есть несколько видов

млекопитающих, еще более близких лошади, чем осел, и, однакоже, оказывающихся не покорными человеку. — Из близких родных быка некоторые более или менее подчинились человеку, как, например, буйвол и як, но американский бизон до сих пор остается неукротенным. — Мы сделали домашним животным кошку, собака давно стала вернейшим другом человека; гепард, напоминающий своим видом отчасти кошку, отчасти собаку, тоже служит человеку. Но волк, гораздо более близкий родной собаке, чем гепард, остается не укрощен. Словом, какое бы из млекопитающих, сделавшихся нашими слугами, ни взяли мы, у него есть очень близкие родственники, не захотевшие служить нам или оказавшиеся по своему характеру непригодными для нашей службы. А ряд тех немногих млекопитающих, которые служат нам, состоит из представителей семейств, очень далеких одно от другого по своей организации; собака и кошка принадлежат к двум разным семействам отдела хищных животных, лошадь и осел — к отделу однокопытных, бык, овца и коза — к разным семействам отдела жвачных, слон и свинья — к разным семействам отдела толстокожих.

До какой степени еще остается неуловима для нас связь между умственными силами млекопитающего существа и наружностью его, мы увидим, припомнив, какие млекопитающие (кроме обезьян) считаются самыми умными. Это слон, лошадь и собака. Есть множество животных, занимающих в зоологической классификации очень близкие к нам места и, однакоже, не заслуживших репутацию особенно умных. Одно из двух: или мы несправедливы к этим животным, которых не считаем особенно умными, или классификация по наружным признакам не дает достаточных средств судить об умственных способностях. Во многих случаях, вероятно, мы несправедливы; так например, осел, по всей вероятности, заслуживал бы считаться животным очень умным. Но во многих случаях небольшие наружные различия, вероятно, в самом деле соответствуют очень большим различиям в умственных способностях и, наоборот, очень большие различия наружности не производят большой разницы в умственных силах.

При таком положении наших знаний о связи между наружными признаками и умственными силами научная осторожность не допускает ставить различие между белой и желтой расами принципом объяснения каких бы то ни было фактов их истории. До сих пор еще остается сильна старая привычка объяснять исторические различия расовыми; но это метод объяснения устарелый и дающий два очень дурные результата: во-первых, объяснение, основанное на нем, обыкновенно бывает само по себе ошибочно; во-вторых, успокоиваясь на этом фальшивом, мы забываем искать истинного объяснения.

Во многих случаях истина была бы ясна сама собою, если бы не была закрыта от нас фантастическим объяснением факта посредством расовых отличий. Так, например, мнимая неподвижность

быта и понятий китайцев была бы без всякого труда понята нами в истинном ее виде как ряд падений цивилизации под гнетом варваров, если бы наше внимание не было отвлечено от этих бедствий произвольной фразой о неспособности желтой расы подняться выше известного уровня цивилизации.

Остановимся пока на этом.

## 2

### О классификации людей по языку

Соображения об условиях, необходимых для возникновения расовых отличий, приводят к заключению, что каждая раса когда-нибудь составляла одну цельную группу людей, живущую вместе. Но у всех рас, имеющих важное историческое значение, этот период общей жизни относится к временам доисторическим. В исторические времена действующими группами являются уж не расы в цельном своем составе, а части рас, или, точнее сказать, части частей рас. Например, в Индию пошла не вся белая раса, а только часть одного из больших отделов ее, арийского семейства, жившего тогда уж особо от другого большого отдела ее, семитического семейства; из Пенджаба в бассейн Ганга пошла не вся эта часть, а только часть ее. Потому для исторических исследований и рассказов нужна классификация людей более подробная, чем та, которая дается распределением их по расам.

Классификация людей по расам основывается на некоторых из их различий по наружности. Если к характеристике расы мы будем прибавлять определения видоизменений этих основных признаков или другие различия по наружности, то получим характеристики отделов расы; продолжая идти этим путем подразличений, мы будем получать подразделения более и более подробные. Эти физические типы будут по нисходящему порядку подразличения более или менее соответствовать группам людей, называемым семействами народов, народами, племенами народа, отделами племени народа; но лишь более или менее, а не вполне; и степень соответствия будет в очень многих случаях — вероятно, в большинстве случаев — неудовлетворительна для исторических надобностей. Например, один из частных физических типов белой расы будет до некоторой степени соответствовать той группе людей, которая называется арийским семейством; но грузины, черкесы — народы того же типа, а между тем они не принадлежат к арийскому семейству; и наоборот: в составе народов арийского семейства находится очень много людей разных неарийских физических типов. Одно из частных видоизменений арийского типа до некоторой степени соответствует той группе людей, которая называется древним греческим народом; но мы положительно знаем, что между древними греками было очень много людей не этого типа; и наоборот: в составе не-

которых народов, называвшихся у греков варварами, иноплеменниками, без сомнения, находилось много людей того физического типа, который мы называем древним греческим. Персы уводили в плен множество греков и гречанок; потомки тех греческих пленных, которые жили не сплошными массами, а маленькими группами между персов или подвластных персам народов, без сомнения, усвоивали себе национальность массы, среди которой жили; у многих из этих людей, утративших греческую национальность, без сомнения, сохранялся греческий физический тип. Карфагеняне, южноитальянские туземцы, этруски, галлы, иллирийцы, фракийцы, скифы тоже уводили в плен много греков и гречанок. Кроме этих невольных переселений в страны варваров, бывали и добровольные. — О нынешних европейских народах и американских народах европейского происхождения давно признано всеми специалистами, что они — смесь людей разных физических типов. Изучая состав тех нынешних западноевропейских наций, которые наиболее многочисленны и с очень давнего времени имеют особенно важное историческое значение, — испанской, итальянской, французской, английской и немецкой наций, — мы видим, что каждая из них — соединение людей нескольких очень различных физических типов, что каждый из этих типов принадлежит лишь меньшинству людей, составляющих нацию, и что в составе других наций находится очень много людей того же типа. Перепутанность эта так велика в пяти главных нациях Западной Европы, что если говорить с научной точностью, то о каждой из них должно сказать: нельзя составить такую характеристику наружных особенностей, под которую подходило бы большинство людей этой нации и которая с тем вместе оставалась бы относящейся собственно к этой нации, как ее отличие от других наций, а не была бы характеристикой группы людей гораздо более обширной, чем эта нация. Правда, есть характеристики физического типа каждой из великих западноевропейских наций, уж давно находящиеся в общем употреблении; но каждая из них составлена произволом фантазии; главный ингредиент их — смесь самохвальства нации с злоречием других наций, бывших враждебными или завидовавшими ей; к этому курьезному сочетанию клеветы с самохвальством присоединены ученые недосмотры и недоразумения. Для примера возьмем общеупотребительные характеристики национального немецкого типа и национального английского; в них обеих самой важной, самой существенной особенностью наружности выставляется светлый цвет волос; немец, это — человек с русыми волосами; немцы с темными волосами — люди не национального немецкого типа; они составляют лишь меньшинство немецкой нации; англичанин — человек с волосами еще более светлыми, чем немец; они у него так светлы, что цвет их на голове — средний между русым и рыжим, а бакенбарды, усы и борода у него вовсе рыжие; люди не с такими волосами — люди не национального английского типа, и состав-

ляют лишь меньшинство английской нации. — А на самом деле, у большинства немцев — темные волосы и у большинства англичан — тоже темные, не только на голове, но и в бакенбардах, усах, бороде. Как же попали светлые волосы в характеристику национальных типов немецкого и английского? — Итальянцы и французы любили ругать немцев, смеяться над ними; взяли предметом насмешки светлые волосы многих немцев и сделали этот цвет волос меньшинства принадлежностью огромного большинства немцев: русые люди — пухлые, золотушные, неуклюжие, и ум у них неповоротливый; они дураки. Но немцы не оставались в долгу: французы и итальянцы люди легкомысленные, непостоянные, вероломные; это потому, что темперамент у них холерический; а у людей с холерическим темпераментом, вообще, черные волосы; мы, немцы, не таковы; мы люди рассудительные, даем обещание обдумав, с твердым решением соблюдать его; потому мы люди добросовестные; а когда мы так солидны умом и так благородны душой, то и темперамент у нас не такой, как у легкомысленных, вероломных французов и итальянцев, он у нас спокойный и вместе энергический, и волосы у нас не такие: у них — черные, а у нас — светлые. Совершенно тем же способом попали в английский национальный тип светлые волосы из перебранок между французами и англичанами. В обоих случаях, к одинаковому выводу из чужой брани и своего самохвальства присоединились ученые подтверждения, имеющие такую же степень научной основательности: Цезарь и Тацит<sup>5</sup> говорят, что германцы — русые люди; как же нынешним немцам не быть русыми людьми? — Англосаксы были люди с очень светлыми волосами; как же не быть людьми с очень светлыми волосами нынешним англичанам? — Что сказать на это? — Если разберем факты, то увидим, что отзывы Цезаря, Тацита о германцах и слова хроник об англосаксах не дают прочного основания для рассуждений о физических качествах нынешних немцев и англичан; но без всяких ученых споров совершенно достаточно будет ограничиться ответом: каковы бы ни были волосы у германцев вообще и у англосаксов в частности, русые ли, зеленые ли, розовые ли, все-таки у большинства нынешних немцев и англичан они темные. Общеупотребительные характеристики физического типа испанской, итальянской, французской, английской и немецкой наций не пригодны ни к чему, кроме брани и самохвальства, и применение этого житейского вздора к истории дает в результате исторический вздор. Но можно заменить фальшивые характеристики правдивыми? — Можно, только это будут уж не характеристики национальных типов. Вникнем в это дело. Начнем с английской нации. Ее составляют люди нескольких очень различных типов; к каждому принадлежит лишь меньшинство; чтобы составить характеристику, охватывающую физические особенности большинства англичан, понадобится соединить характеристики разных типов; чтоб подвести их под одно определение, понадобится упо-

треблять выражения широкие, неопределенные; например, о волосах придется выразиться так: «цвет волос видоизменяется от темного каштанового, близкого к черному, до очень светлого, близкого к белокурому», люди с черными, белокурыми, рыжими волосами все вместе составляют лишь меньшинство английской нации, потому и можно оставить волосы этих цветов вне границ определения английского типа; но попробуем поставить границу с которой-нибудь стороны менее далеко от другого предела, исключим или темнокаштановые волосы, или светлорусые, — в наших границах останется лишь меньшинство англичан. Потому нельзя сделать определения менее широкого, чем «волоса всяких оттенков от темного каштанового до светлорусого». То же самое будет и со всеми другими признаками: каждый будет определен очень широким выражением. Только при таком качестве выражений характеристика английского типа действительно будет охватывать большинство людей английской национальности. Но под такую характеристику не хуже, чем большинство англичан, подойдет большинство голландцев, датчан, норвежцев, шведов, некоторых северных немецких племен, литовцев, северной половины славян. Что ж такое это будет — характеристика ль национального английского типа? — Нет, характеристика арийского населения северной Европы. Точно так же нельзя составить характеристику испанского типа, под которую, вместе с большинством испанцев, не подошло бы большинство португальцев, соседних с Испанией французов, некоторых южных немецких племен, итальянцев, албанцев, нынешних греков, южных славян, и что это будет? Не характеристика национального испанского типа, а характеристика арийского населения южной Европы. Большинство итальянцев тоже не может быть охвачено характеристикой менее широкой, чем эта, охватывающая все разноплеменное арийское население южной Европы. Из пяти наций остаются две, французская и немецкая. В каждой из них соединены люди северо-европейского и южно-европейского типов; потому всякая попытка дать характеристику национального французского или немецкого типа дает в результате характеристику всего арийского населения Европы, за исключением разве Андалузии, Сицилии на юге, Скандинавии и кусочка Нидерландов на севере.

Это применяется ко всем большим народам белой расы, не только новым, но и древним. Вавилоняне, ассирияне, персы, греки, римляне тоже состояли из людей разных физических типов. Ни один из этих народов не может быть характеризован по физическим признакам такими чертами, которые не были бы гораздо шире его народности. Классификация по физическим признакам дает вместо народов более широкие группы людей, лишенные национального единства, состоящие из людей разных народностей и притом народностей таких чуждых одна другой по исторической своей жизни, как англичане и литовцы, испанцы и албанцы. А в истории национальные группы имеют громадную важность; по-

тому ей необходима классификация людей по другому основанию распределения, дающему группы, более соответствующие национальным группам.

Такое основание для классификации людей представляет язык.

Далеко не всегда люди, составляющие историческую группу, соединены между собой общностью языка. Мы имеем в истории много примеров тому, что одна нация силой налагала свою власть на людей других народностей и насильственно удерживала их в составе своего государства. Таковы были, например, персидское государство и, во времена своей обширности, римское государство. Но бывают и случаи добровольного соединения людей разных национальностей в одну историческую группу. Обыкновенно приводят в пример этого Швейцарию. Есть много и других случаев сходного рода. Например, население той части Уэльса, где еще властвует одно из наречий кельтского языка, желает оставаться принадлежащим к составу английского государства; точно так же бретонцы, продолжающие говорить на своем наречии кельтского языка, желают оставаться принадлежащими к составу французского государства; французские баски — тоже. И наоборот: есть примеры, что часть нации не хочет составлять одно государство с другими людьми своей национальности. Издавна приводят Швейцарию в пример и этого случая: швейцарские итальянцы не желают присоединиться к итальянскому государству, швейцарские французы не желают присоединиться к французскому государству, немецкие — к немецкому. Но уж довольно с давнего времени выдвинулся на первый план истории другой такой факт, гораздо большего размера: англичане и североамериканцы не желают составлять одно государство.

Так, часто история народов определяется силами, более могущественными, чем чувства национального единства и чувство национального различия. Но даже и в таких случаях эти чувства сохраняют большое влияние на жизнь людей. Само собою разумеется, что при насильственном подчинении одного народа другому они, вообще говоря, враждебны между собой. Но и при добровольном соединении в одно государство люди разных национальностей вообще группируются в разные общественные и политические отделы по народностям. Не говоря о Швейцарии, где каждая из трех национальностей занимает особую часть страны, мы видим это в Североамериканских Штатах, где иноплеменники живут перемешанно с людьми североамериканской национальности и между собою. Ирландцы в Североамериканских Штатах составляют одно целое, хотя живут разбросанно; немцы тоже. И те, и другие с любовью держатся людей своего народа в американских городах, пока не утратят своей национальности, и продолжают любить свою европейскую отчизну, пока сохраняют память, что они ирландцы или немцы. Североамериканцы и англичане до сих пор охотники говорить одни о других дурно, временами желают вреда

одни другим; а раньше неприязненные чувства между ними были гораздо сильнее; долго спустя после признания независимости Соединенных Штатов Англией, когда уж следовало бы забыть вражду, они стали воевать между собою без всякого солидного повода, просто по охоте ссориться, которая довела их до войны; а перед этим и после этого не раз грозили одни другим войною. Вы подумаете: «два народа, чуждые один другому»; и сами они охотники говорить это. Но всмотритесь ближе: над чувством неприязни, остающимся в англичанах от злобы на отпадение североамериканцев от Англии, в североамериканцах от злобы на предшествовавшие притеснения и на жестокое ведение войны для подавления их независимости, владычествует взаимная любовь; оба народа чувствуют себя составляющими в сущности один народ; пусть что хотят говорят англичане о североамериканцах, североамериканцы об англичанах во времена ссор, — те и другие остаются братьями друг другу; их раздоры не то, что ссоры между чужими, это семейные ссоры братьев, живущих разными домами; временами они сердятся друг на друга, но и во время ссоры остаются милее друг другу, чем два разные народа, находящиеся в союзе между собой.

Чем в сущности определяется принадлежность человека к той группе, к которой добровольно принадлежит он? — Его чувством: «эти люди — мои люди», и чувством каждого из них о нем: «он — наш человек». Самое прочное основание этого чувства — одинаковость языка: «мои люди — люди, говорящие моим языком»; «человек, говорящий нашим языком, — наш человек».

В этом причина важности, какую имеет для истории классификация людей по языку; группы, даваемые ею, не всегда близко совпадают с историческими группами, но в большинстве случаев совпадают с ними очень близко; и когда не совпадают близко, все-таки соответствуют очень сильной связи между людьми, хотя бы и вовсе различных, хотя бы временами и враждебных между собою исторических групп. Люди одной национальности — люди, считающие друг друга родными и потому действительно родные; родство определяется чувством родства. Родные между собою люди — это те люди, которые сознают себя родными.

В существенных своих чертах классификация языков остается до сих пор та, которая была установлена Вильгельмом Гумбольдтом, братом Александра, менее знаменитым, чем этот натуралист и полигистор\*, но тоже одним из людей очень обширной учености.<sup>6</sup> Главным предметом своих исследований Вильгельм Гумбольдт выбрал языки. Он изучил огромное количество их и сделал открытия, бывшие в его время изумительными. Например, он нашел, что язык древних иберийцев, от которого не дошло до нас почти ничего, кроме собственных имен, искаженных передающими

\* Обладающий универсальными знаниями. — *Ред.*

их греческими и римскими писателями, и который поэтому оставался совершенно загадочным для филологов, был тот самый, которым теперь говорят баски; и при помощи баскского языка объяснил множество древних испанских собственных имен. Теперь этот способ исследования старых языков, от которых дошло до нас мало остатков, сделался общеупотребительным; но в то время (несколькими годами раньше появления первой попытки Шамполиона<sup>7</sup> изучить древний египетский язык с помощью коптского) метод, приложенный Вильгельмом Гумбольдтом к иберийскому языку, был очень нов, и была нужна большая пронизательность ума, чтобы пользоваться им правильно. Вообще следует считать Вильгельма Гумбольдта человеком не только громадных знаний, но и очень сильного ума. Должно однакоже не забывать, что он хотя много занимался философией и науками, наиболее близкими к ней, не имел сил выработать самостоятельный образ мыслей по тем очень широким вопросам, исследованием которых специально занимаются мыслители, называемые философами; он подчинялся влиянию господствовавшего тогда в Германии метафизического направления философии. Наиболее сильные из немецких философов того времени основали каждый свою особую систему, но сходились в том, что стремились объяснить все факты действием мысли. В применении к языку это давало тот вывод, что язык вполне выражает собою все содержание мыслей человека, все оттенки его понятий о вещах, об отношениях между предметами и о переменах в них. Мышление считалось тогда основной силой, производящей человеческий организм, так что понятие о человеке было почти отождествляемо с понятиями о его мышлении. Все это было перенесено Вильгельмом Гумбольдтом из господствовавших тогда немецких философских систем в его учение о языке. Результат выходил приблизительно такой: язык человека и его умственная жизнь — одно и то же. Что находится в умственной жизни человека, все выражается его языком; чего нет в его языке, того нет в его умственной жизни. Человек в сущности мыслящая сила; организм человека лишь проявление его мышления; потому вся звуковая деятельность органов человеческой речи тождественна с его мышлением; и если мы будем говорить об отдельном человеке, то должны сказать, что его индивидуальность и его язык совершенно совпадают. То же самое и о народе. Человек рождается уж индивидуальным существом; вся следующая жизнь его — проявление той индивидуальности, с какой он родился, потому человек уже рождается способным мыслить только посредством того языка, который тождествен с его индивидуальностью; индивидуальность человека продукт индивидуальностей его родителей, их индивидуальности продукты индивидуальностей их родителей и т. д. Таким образом, язык, которым говорит человек, вполне обусловлен его происхождением; он может мыслить только на языке своих родителей, никакой другой язык не может сделаться выражением его

умственной деятельности, и если он по какому-нибудь случаю вырос между людьми другого языка и не умеет говорить на языке своих родителей, говорит только на языке чужих ему людей, среди которых вырос, то язык, которым говорит он, будет по своей сущности все-таки тождествен с языком его родителей, эта сущность будет только проявляться другими звуками; но, разумеется, проявление, не соответствующее сущности проявляющегося в нем, будет проявлением очень неудовлетворительным. Человек не может хорошо говорить ни на каком языке, кроме языка своих родителей. То же самое должно сказать и о народе. Когда какое-нибудь племя мало-помалу забывает свой язык, принимая язык другого племени, сущность чужого языка, которым со временем заменится прежний язык, будет та же самая, какую имел прежний язык, а тот язык, которым говорит оно, навсегда останется чужим ему языком, на котором оно не может удовлетворительно выразить свои понятия и которым оно вечно будет владеть очень плохо.

Поясним дело примером. Дорийский город Галикарнасс привлекал множество людей из соседних ионийских городов; ионийские переселенцы составили наконец большинство населения Галикарнасса; в этом городе стало преобладать ионийское наречие, и дело кончилось тем, что все жители Галикарнасса стали говорить им; потомки дорийцев забыли дорийское наречие, стали по языку ионийцами. Один из граждан Галикарнасса, богатый человек знатного рода, Геродот, много путешествовал, собирал исторические и всякие другие сведения и написал сочинение, за которое называют его отцом истории<sup>8</sup>. По языку это сочинение признавалось греками и в новой Европе всегда признавалось всеми филологами за образцовое по чистоте ионийского (новоионийского, в противоположность гомеровскому) наречия. Возможно ли это? Очевидно, нет. Геродот был человек очень знатного рода. Знатные роды в Галикарнассе были дорийские. Итак, Геродот был дориец; сущность языка Геродота дорийская; на ионийском наречии писал он плохо. Все греки и все филологи ошибались, находя, что он писал по-ионийски хорошо. Или можно доказать, что обе бабушки и оба деда Геродота были ионийского племени? Вот было бы счастье! Тогда можно было бы возвратить Геродоту умение писать на ионийском наречии. Такова наивность теории Вильгельма Гумбольдта. Смеяться ли над ним? Это было бы несправедливо; он только разделял увлечение тогдашнего образованного немецкого общества фантастическими мудрствованиями Канта, Фихте, Шеллинга. Лично он не подлежит порицанию. Но теперь, когда и у самих немцев прошло увлечение метафизическим фантазерством, в которое впал Кант от избытка забот опровергнуть метафизику, можно было бы лингвистам уж не повторять рассуждений Вильгельма Гумбольдта о тождестве умственной жизни человека и звуков его речи; а это делается до сих пор большинством специалистов по языкознанию, когда они, подымаясь над своей специаль-

ной работой, пускаются в философствования о характере человеческого языка вообще и об умственных и нравственных особенностях людей, склоняющих существительные по падежам, от людей, заменяющих падежи предлогами. Классификация языков, установленная Вильгельмом Гумбольдтом, значительно изменена исследованиями специалистов, продолжавших его дело. Но главные черты его системы языков остаются до сих пор общепринятыми и, по всей вероятности, должны быть признаны основательными. Вильгельм Гумбольдт делит языки на несколько разрядов, из которых два или три обыкновенно отбрасываются теперь, как не имеющие существенной разницы от того или другого из трех наиболее важных. Эти три сохраняют свое значение. Названия их таковы:

Изолирующие языки.  
Агглютинирующие языки.  
Флектирующие языки.

Изложим общепринятые понятия о характере каждого из этих разрядов и об отношениях между ними.

Во всех европейских языках глаголы изменяются по формам спряжения, существительные если не по падежам, то хоть для образования множественного числа; есть и другие изменения слов. Эти так называемые грамматические формы служат для обозначения отношений между словами. Но не все языки имеют такое устройство. В некоторых нет никаких перемен слов по грамматическим формам. В них связь между словами остается без обозначения звуками, когда ясна без него; а когда было бы затруднительно угадать ее без обозначения звуками, она обозначается особыми словами, соответствующими нашим местоимениям, вспомогательным глаголам, наречиям времени и места, предлогам, союзам. Такие языки называются изолирующими, «обособляющими» (имеющими лишь обособленные слова, не связываемые между собою изменениями форм). К этому разряду принадлежат некоторые языки юго-восточной Азии. Важнейший из них — китайский.

Изменения слов по грамматическим формам производятся в наших, арийских, языках двумя способами: основная группа звуков слова, проходя по грамматическим формам, или остается неизменною, только принимая разные приставки, или видоизменяется и сама.

По первому способу спрягается в наших языках огромное большинство глаголов, склоняется по падежам или переходит в форму множественного числа огромное большинство существительных. Таково, например, спряжение глаголов:

латинск. desiderare — desider — are  
французск. désirer — désir — er  
английск. wish — wish

немецк. wünschen — wünsch — en  
Русск. желать — жела — ть

Основные группы звуков

desider — désir — wish — wünsch — жела —

проходят через все спряжение, не подвергаясь перемене; переменяются лишь приставки.

Языки, в которых изменения слов по грамматическим формам производятся только этим способом, в которых корень слова не подвергается никаким переменам, кроме немногих и незначительных, требуемых удобством выговора, называются агглютинирующими, «приклеивающими» приставки к основной части слова. К этому разряду принадлежит огромное большинство языков: все туземные американские; все известные нам туземные африканские; малайские (в Полинезии и в Азии), дравидские (в Ост-Индии); монголо-тюркские; финские; грузинский, черкесский, баскский.

В наших, арийских, языках есть, кроме этого агглютинирующего, другой способ изменения слов по грамматическим формам. Берем глаголы:

латин. velle	хотеть
франц. vouloir	
англ. will	
немецк. wollen	

Будем спрягать:

Латинск. неопредел. velle. Изъявит. наст. единств. 1 лицо — volo, 2 — vis, 3 — vult. — Этого достаточно; мы уж имеем в 4 формах 4 разные вида основной группы звуков.

vel — le, vol — o, vi — s, vul — t.

Французск. неопредел. vouloir. Изъявит, наст. единств. 1 л. — veux. Будущее единств. 1 л. — voudrai. Этого довольно; мы имеем уж 3 видоизменения основной группы звуков:

voul — oir, veu — x, vou — drai.

Английский неопред. will. Наст. единств. 1 л. — will; прошед. единств. 1 л. — would (произносится wood); мы имеем 2 видоизменения основной группы звуков:

will, woul — d (произносится woo — d).

Немецк. неопредел. wollen. Изъявит. наст. единств. 1 л. — will; мы имеем 2 видоизменения основной группы:

woll — en, will\*.

\* Русский глагол этого корня «велеть» имеет агглютинирующее спряжение; есть другой агглютинирующий глагол того же корня, вернее сохранивший основное значение своего корня, — «из-вол-ить»; есть существительное «вол-я»; сравнивая эти слова, мы получаем две русские формы корня: «вель-» и «вол-».

Языки, в которых употребляется этот способ изменения слов по грамматическим формам, называются флектирующими, видоизменяющими основную часть слова, проводимого через формы грамматических изменений. К флектирующему разряду причисляются два семейства языков: наше (арийское) и семитическое.

Итак, наши языки принадлежат к флектирующему разряду. Из этого по принципу «мы лучше всех» само собою следует, что люди, говорящие флектирующими языками, умнее всех других, а из этого не менее ясно следует, что флектирующие языки лучше всех других. Агглютинирующие языки ближе к флектирующим по своему устройству, чем изолирующие; из этого ясно, что им следует отдать предпочтение над изолирующими. Таким образом получается без малейшего затруднения следующая рассортировка языков и умственных способностей народов по порядку восхождения от плохого к лучшему.

Изолирующие языки даны природой тому отделу человеческого рода, который скупо снабдила она умом. У этого отдела людей ум очень, очень плох. Они вовсе неспособны понимать связь между предметами или между предметом и его качествами, или связь в ходе фактов. Как же возможно было б им понимать что-нибудь такое? Мышление и язык, это — одно и то же. Все содержание мысли высказывается звуками слов, которыми человек выражает ее; чего нет в его словах, того нет в его мысли. Речь людей, говорящих изолирующими языками, — бессвязный ряд слов. И понятия, высказываемые ею, бессвязно проходят одно за другим в уме высказывающего их, как бессвязно следует слово за словом в его речи. Его слова, собственно, потому и бессвязны, что нет связи между понятиями в его уме. Глупы, до удивительности глупы народы, говорящие изолирующими языками.

Агглютинирующие языки несравненно выше изолирующих: слова в них связаны приставками. Но приставки не срослись в неразрывное целое с основными частями слов; слово агглютинирующего языка делится отчетливо обрисовывающимися чертами на те части, из которых склеено. Народы, говорящие этими языками, получили от природы гораздо больше ума, чем народы, говорящие изолирующими языками. Но приставки лишь слабо соединены с основными частями слов; из этого следует, что и связь между понятиями слаба в мыслях народов, говорящих агглютинирующими языками. Эти народы не вовсе глупы, но слабы умом.

Только во флектирующих языках связь между словами неразрывна, потому что грамматическая форма, связывающая слово с другими словами, срослась в неразрывное единство с основной частью его; по технической терминологии, перенесенной в лингвистику из систем немецкой трансцендентальной философии конца прошлого века и первых десятилетий нынешнего, это называется гармоническим слиянием формы с содержанием; содержание — то понятие, которое обозначается основной частью слова; форма —

грамматическое видоизменение этой основной части. Только народы, говорящие флектирующими языками, способны мыслить хорошо; только они наделены сильным умом.

Речь на изолирующем языке — бессвязная груда камней, речь на агглютинирующем языке — стена, сложенная из кирпичей, соединенных известью, все связи — особые от кирпичей слои; и кирпич легко отделяется от кирпича. Речь на флектирующем языке — нечто совсем иное; она органическое целое, это уж не мертвая масса кусков мертвого материала, а зеленеющее, цветущее, дающее плоды дерево.

Это беспрепятственное шествие торжествующего мышления флектирующих ученых от произвольных предположений путем силлогизмов к желаемому выводу напоминает средневековую схоластику, с которой и действительно имеет очень близкое родство немецкая трансцендентальная философия, давшая основные аргументы для изложенной нами теории отношений между тремя рядами языков: языками глупых народов, не совсем глупых, но и не умных народов и народов очень умных: за истины, не подлежащие сомнению, приняты фантастические мысли о тождестве языка с мышлением, и вышли нелепые выводы: говорящий человек не может оставлять без обозначения звуками те части своей мысли, которые легко разгадывать по высказываемым частям; слушающий человек не может угадать по высказанному ничего невысказанного: «мысль — язык; чего нет в звуках языка, того нет в мысли говорящего и не может явиться в мысли слушающего», — эта основа всей аргументации — вымысел, несообразный с фактами.

Мыслят ли глухонемые от рождения, которых не учили разгадывать слова по движениям губ? И те глухонемые от рождения, которые научены разгадывать слова по движениям губ, даже приносить слова, — слышат ли они звуки слов, разгадываемых ими по движениям губ и произносимых ими?

Впрочем, теперь едва ли кто-нибудь из людей, пишущих о языке, не знает, что человек мыслит представлениями, что когда он мыслит посредством слов, он делает это по удобству заменять многосложное простым, но что под каждым словом, которое он мыслит, является в его мышлении представление, и слово лишь свидетельствует ему, что являющееся ему представление уж было подробно рассматриваемо им много раз и что теперь нет надобности тратить время на новое рассматривание этого представления, можно смело и быстро пользоваться им, как уж хорошо знакомым; вероятно, каждому пишущему о языке известно теперь и то, что словами охватывается не все содержание представлений, а лишь доля его, и во многих случаях эта доля — хотя и существенная — доля очень маленькая; что есть много представлений, содержание которых не может быть все исчерпано каким бы то ни было количеством слов; таковы, например, наши представления

о людях, хорошо знакомых нам; или другой пример: может ли быть вполне передано словами во всей своей подробности изображение фигуры, образуемой на карте линией берегов Пиренейского полуострова, нарисованного величиной только с ладонь, не говоря об изображении в размере более значительном? — Хотя бы написать об этой линии десять толстых томов, не останется в них места для отчетливой передачи всех подробностей ее.

Должно полагать, что эти понятия об отношениях языка к мышлению известны всем пишущим о языке и считаются каждым из них за бесспорные и что теория, основанная на фантазиях, несообразных с ними, повторяется лишь по недоразумению.

Перейдем к изложению тех понятий об отношениях между изолирующими, агглютинирующими и флектирующими языками, которые установлены специальными трудами великих лингвистов, а не заимствованы из несообразных с фактами фантазий трансцендентальной философии Канта и ближайших продолжателей его метафизического построения воображаемой вселенной, нисколько не похожей ни на что существующее или могущее существовать в действительности.

Изолирующие языки состоят из слов, не имеющих никакой грамматической формы; слова этих языков можно уподобить таким группам звуков, например, латинского языка, которые получатся через отбрасывание всех окончаний.

В латинском языке есть глагол, имеющий, в числе других форм своего спряжения, следующие: *lego* (читаю), *legis* (читаешь), *legege* (читать). Сравним эти формы:

*leg* — o  
*leg* — is  
*leg* — ere,

отбросим звуки, которыми они отличаются одна от другой, оставим только общую всем им группу звуков:

*leg* —

это слово не будет иметь никакой формы, будет слово бесформенное.

Но пусть оно будет написано после слов *tu* (ты) и *nunc* (теперь), а за ним пусть следует слово *librum* (книгу):

*tu nunc leg — librum*  
(ты теперь чита — книгу),

мудрено ли догадаться, каким окончанием должно в этом случае пополнить бесформенное слово *leg* —?

Изолирующие языки ставят слова без обозначения связи только в конструкциях, подобных этой.

В латинском языке мысль «ты видишь его» выражается словами *vides eum*. Глагол *video* в данном случае требует дополнения

в винительном падеже; слово *eum* поставлено в винительном падеже, форма винительного падежа крепко связывает слово *eum* с словом *video*.

Мысль «приходишь к нему» выражается на латинском языке словами *venis ad eum*. Глагол *venio* в данном случае требует, чтобы дополнение было поставлено с предлогом *ad*; слово *eum* поставлено с предлогом *ad*. Спрашивается: связь между *venio* и *te* посредством предлога *ad* в выражении *venis ad eum* менее ли крепка, нежели непосредственная связь между *vides* и *eum* в выражении *vides eum*? — Португальцы, испанцы, французы, итальянцы, немцы, голландцы, англичане, датчане, шведы, племена наречий литовского языка, славянские племена, греки, албанцы, — все нынешние европейские арийцы давно решили: связь посредством предлогов и других вспомогательных слов не менее крепка, чем непосредственная связь, и во всех тех случаях, когда грамматические отношения между словами не очень просты, она заслуживает предпочтения перед непосредственной связью, будучи определеннее и яснее. То же самое давно решено армянами, персиянами, другими арийцами персидского семейства, и индийскими арийцами. Нет теперь ни одного арийского народа, грамматика которого не свидетельствовала бы, что он считает связь посредством предлогов и других вспомогательных слов не менее крепкой и более определенной, чем непосредственное связывание слов формами, потому отдает ей предпочтение во всех тех случаях, когда отношения между словами не очень просты. Это значит: все нынешние арийцы строят многосложные выражения по тому способу, по какому строятся они в изолирующих языках.

В агглютинирующих языках основная группа звуков слова не изменяется, проходя через грамматические формы, образуемые приставками. Мы уж видели, что в наших, арийских, языках огромное большинство глаголов спрягается по этому способу, огромное большинство существительных склоняется тоже этим способом.

Сравним для примера первые четыре падежа турецкого склонения и одного из видов латинского второго склонения.

	Турецк. склон.	Латинское 2 склонение
Единств. Именит. падеж	кюн(день)	vir (мужчина)
Родительн.	кюн — ин	vir — i
Дательн.	кюн — я	vir — o
Винительн.	кюн — и	vir — um.

Именительный падеж в обоих словах остается не имеющим приставки;

из трех косвенных падежей два в том и другом языке формируются приставкой гласного звука;

и один из трех в том и другом языке образуется приставкой, состоящей из гласного звука и согласного звука; оба эти согласные звуки принадлежат одному фонетическому разряду; в латинском звук *m*, в турецком носовой звук, видоизменение звука *n*, родственного звуку *m*. Припомним, что в формах греческого склонения латинскому звуку *m* соответствует звук *n* (напр., греческий винительный единственного числа 2 склонения *on* = латинскому *um*).

Каковы же действительные отношения арийских языков к изолирующим и агглютинирующим?

В арийских языках есть бесформенные слова; их довольно много даже в латинском; таковы в нем многие наречия времени и места, предлоги, союзы, междометия. В новых европейских арийских языках таких слов гораздо больше. Приведем два примера:

латинск. *de*, франц. *de*, англ. *of* (= другому тоже бесформенному латинск. предлогу *ab*), немецк. *von*, русск. *от*;

латинск. *et*, франц. *et*, англ. *and*, немецк. *und*, русск. *и*.

Эти слова бесформенные, как слова изолирующих языков.

Во всех арийских языках есть случаи конструкции, в которых связь между словами остается без всякого обозначения звуками. Такова, само собою разумеется, конструкция бесформенных слов. В латинской фразе *venis ad eum* («приходишь к нему») слово *ad* связывает слова *venis* и *eum*; но само оно не имеет обозначения своей связи с этими словами; берем два ряда латинских слов:

*venis ad eum* (приходишь к нему)  
*ab ad in* (от к в).

В первой фразе слово *ad* очень крепко связано с каждым из слов, между которыми стоит; вторая фраза — совершенно бессвязный ряд слов; слово *ad* совершенно одинаково в обоих рядах. К бессвязному ряду слов *ab, ad, in* прибавим слова *sunt voces linguae latinae* (суть слова языка латинского = «это слова латинского языка»), будем иметь фразу:

*ab, ad, in sunt voces linguae latinae*  
(*ab, ad, in* — слова латинского языка).

Что такое *ab, ad, in* в этом выражении? — Подлежащие. Что такое подлежащее в языках, имеющих падежи? — именительный падеж существительного. Итак, в выражении *ab, ad, in sunt* и проч., предлоги *ab, ad, in* имеют грамматическое значение существительных, поставленных в именительном падеже. Мы видим, что вопрос о том, какое грамматическое значение имеет то или другое слово, определяется конструкцией предложения, а не формой слова даже в латинском языке, в котором владычество грамматических форм гораздо шире и тверже, чем в новых европейских языках арийского семейства. А когда так даже в латинском языке,

то не должно ли назвать смешными порицания изолирующим языкам за то, что в них грамматическое значение слов определяется конструкцией выражений?

А что окажется, если мы попробуем сосчитать, какова пропорция слов без окончаний форм в немецкой или французской живой речи? — На письме французская речь богата словами, имеющими определенные грамматические формы; но этими формами их снабжает условная орфография, далекая от звуков живой речи; французская орфография спрягает, например, глагол *aimez* так, что неопределенное наклонение *aimez* резко отличается от причастия *aimé*, а живая речь не различает этих форм. Но чтобы не входить в длинные рассуждения, которые были бы нужны для разъяснения правильности счета бесформенных слов в немецком языке и в живой французской речи, оставим вопрос о преобладающем характере устройства этих языков и сделаем пробу счета бесформенных слов в английском языке. Берем для примера два первых стиха национальной английской песни и первую строфу североамериканской национальной песни.

Английская национальная песня начинается так:

*Rule, Britania the waves,  
 Britons never shall be slaves* \*.

Слова, принявшие какое-нибудь грамматическое окончание, подчеркнуты; число их — 3; другие 6 слов не имеют никакой приставки, обозначающей грамматическую форму; они бесформенны.

Начало американской песни:

*A Yankee boy is trim and tall  
 And never overfat, sir;  
 At dance and frolic, hop and ball  
 As nimble as a rat, sir.*

*Yankee doodle, guard your coast  
 Yankee doodle dandy.  
 Fear not then, nor threat, nor boast,  
 Yankee doodle dandy* \*\*.

Из 42 слов только одно (*is*, «есть») имеет определенную грамматическую форму; все остальные бесформенны. — Такие случаи

\* «Владычествуй, Британия, на морях; не будут никогда рабами британцы». — Эта песня возникла в одну из тех эпох, когда угрожало Англии порабощение иноземцами, возбуждавшими мятежи, чтобы под предлогом помощи инсургентам наложить ярмо на всю нацию, одинаково и на инсургентов, и на их противников.

\*\* «Янки — стройный высокий парень, не жирный; на веселье, в танцах, на празднике, он проворен, как мышонок.

Янки — щеголь-ротозей, стереги свой берег, и тогда не бойся, и не грози, и не хвались, Янки щеголь-ротозей».

Эта песня появилась, когда североамериканским колониям, еще составлявшим часть английского государства, угрожало с моря нападение иноземцев, воевавших с англичанами.

не очень часты; но разверните любую английскую книгу, вы увидите длинные ряды бесформенных слов, прерываемые маленькими группами слов, имеющих какую-нибудь приставку для определения формы, или только одинокими такими словами.

Английский язык остается флектирующим; но он дал очень широкое владычество определению отношений между словами конструкцией речи и вспомогательными словами; потому для него достаточно очень небольшое число разных грамматических окончаний, и большинство слов в речи не имеет надобности принимать какую-нибудь приставку для связи с другими: связь и без того достаточно ясна.

Мы видели, что в изолирующих языках есть два способа конструкции: по одному, бесформенные слова ставятся рядом без обозначения связи между ними; по другому, связь обозначается вспомогательными словами; агглютинирующие языки употребляют оба эти способа конструкции, но имеют кроме них третий способ, состоящий в том, что связь между словами обозначается приставками к словам, грамматическими формами, без посредства вспомогательных слов; все эти три способа употребляют и флектирующие языки: одинаково с агглютинирующими они или ставят бесформенные слова рядом, не обозначая ничем связь между ними, или обозначают ее вспомогательными словами, или обозначают ее грамматическими формами. Кроме этих трех способов конструкции, флектирующие языки не имеют никакого другого. Таким образом, по своему синтаксису они не представляют никакой существенной разницы от агглютинирующих языков.

Но в этимологии у них есть особенность очень важная. Агглютинационный способ производства форм, оставляющий основную группу звуков слова неизменной, преобладает и в арийских языках. Но есть в них другой способ производства форм — подвергающий видоизменениям основную группу звуков. Примером очень широкого применения этого способа может служить немецкий корень, имеющий в неопределенном наклонении произведенного от него глагола форму *werf* — *en*; в этой форме основная часть слова *werf*; приставка, образующая форму, — *en*. Проходя по разным формам, основная часть меняет свой гласный звук в таком размере разнообразия, что принимает поочередно все основные гласные немецкого языка.

- (*ich*) *warf* прошед. изъявит. (я бросил)  
 (*ich*) *werf* настоящ. изъявит. (я бросаю)  
     *wirf* 2 единств. изъявит. (брось)  
*ge-worf-en* прошедш. причаст. (брошен)  
 (*der*) *wurf* существительное (бросок).

Этот способ производства форм есть во всех арийских языках. На основании употребления его в них и дано им название флектирующих, «видоизменяющих» корень.

К флектирующему разряду принадлежат только два семейства языков: арийское и семитическое. Разница между ними очень велика и по размеру, и по характеру применения флектирующего способа.

В арийских языках корень имеет коренную гласную; она в некоторых формах производства заменяется другой; но сравнивая формы *корня* в разных языках, мы вообще можем определить, какую гласную должно считать основной.

Притом, в арийских языках преобладает агглютинирующий способ производства форм; флектирующий является исключением даже в тех из арийских языков, которые дают ему наиболее широкое применение, как, например, немецкий.

По флектирующему способу спрягаются в немецком языке лишь с небольшим 200 простых глаголов (и, разумеется, сделанные из них сложные с предлогами); все остальные немецкие глаголы спрягаются по агглютинирующему способу.

Совсем не то в семитическом семействе языков. В нем все корни склоняемых или спрягаемых слов, все корни существительных, прилагательных и глаголов — видоизменяются по флектирующему способу; очень широкое употребление в нем имеет и агглютинирующий способ, но служит лишь второстепенным пополнением к флектирующему. Корень принимает одну из форм флектирования; к этой форме делаются приставки; каждый корень проходит через многие формы флектирования; каждая из этих форм имеет определенное грамматическое значение. Корень без флектирования не только не употребляется, но и не может быть произнесен, потому что сам по себе не имеет никакой гласной, состоит только из согласных. Вообще он состоит из трех согласных; если он имеет только две согласные, это значит, по мнению специалистов, что одна из трех букв корня слилась с другой; сравнением форм и корней находят исчезнувшую согласную, восстанавливают первобытный трехбуквенный корень. Так делают они даже с немногими однобуквенными корнями (немногих бесформенных слов); они находят обе исчезнувшие буквы (и подводят бесформенное слово под одну из форм трехбуквенных корней, находя, что его бесформенность лишь кажущаяся, что на самом деле оно — слитный вид одной из форм трехбуквенного корня).

Это строение языка так несходно с нашим арийским, что семитическая этимология производит на арийцев впечатление очень странное. Этимология агглютинирующих языков кажется нам с самого начала нашего знакомства натуральной, ясной, мы не видим в ней ничего непривычного; семитическая этимология представляется нам ненатуральной, пока мы не привыкнем к ней. Чтобы дать понятие о ней, разберем производства имен Ахмед, Махмуд, Мухамед. Корень их хмд.

Между этими согласными вставляются гласные, вторая или третья из трех согласных удваивается, перед первой или после последней из них ставятся гласные или группы согласных и гласных, — и получается множество разных форм корня. В числе их находятся:

- Х а М Д (хамд; существит. «хвала»)  
 Х а М а Д а (хамада; 3 лица мужск. рода единств. прошедш. «он хвалил»)  
 а Х М а Д (ахмад — Ахмед; превосходная степень прилагательного «прехвальный»)  
 ма Х М у Д (махмуд; причастие «хвалимый»)  
 му Х а М М а Д (мухаммад — мухаммед; другое причастие «восхваленный»).

Звуки, а, ма, му, предшествующие звуку Х, не предлоги, как мы могли бы подумать по нашей арийской этимологии; это лишь части форм слов, как те гласные звуки, которые вставлены между согласными корня.

Существительные, прилагательные, причастия, полученные этим способом, склоняются по падежам единственного числа агглютинирующим способом; множественное число производится от некоторых форм единственного тоже агглютинирующим способом; но от других — флектирующим, и в таких случаях множественное вовсе не похоже формой на единственное.

Основные формы глагола в изъявительном наклонении спрягаются по лицам, родам и числам агглютинирующим способом.

Например:

- Существ. именит. единств. Хамду (хвала)  
 родительн. Хамда (хвалы)  
 Глагол прошедш. ед. 3 лица муж. рода хамада (он хвалил)  
 женск. рода хамада (она хвалила)\*.

Наши арийские языки принадлежат к одному разряду с семитическими, потому что подобно им употребляют флектирующий способ образования форм, чуждый агглютинирующим языкам. Но он получил в семитических языках такое развитие, что разница между ними и нашими языками несравненно резче и шире, нежели между нашими и агглютинирующими. Так один брат может менее походить на другого брата, чем на дальнего родственника.

Прежде полагали, что языки не переходят из одного разряда в другой, что, например, агглютинирующий язык с самого своего

\* Разница формы 3 лица женск. рода от 3 лица муж. рода будет яснее, если мы скажем, что в конце женской формы стоит буква, означающая легкое придыхание, что звук а, сливаясь с этим придыханием, становится глубок и протяжен. Латинским алфавитом это можно написать так: chamada, chamadâh.

возникновения был агглютинирующим и никогда не может стать флектирующим.

Теперь доказано, что все агглютинирующие языки были некогда изолирующими, агглютинация — лишь результат постепенного подведения вспомогательного слова под одно ударение с главным словом и сокращения вспомогательного слова под влиянием того, что при подведении его под одно ударение с главным словом оно начинает произноситься более слабым голосом и некоторые из его звуков исчезают.

История семитических языков еще не разъяснена настолько, чтобы видно было, каким путем развился в них тот характер производства форм, который господствует теперь; в древнейших памятниках *этих* языков они уж имеют такой же характер, как ныне. Все они очень близки между собою; разница между ними едва ли более велика, чем между немецким и голландским, или датским и шведским.

Наши, арийские, языки разделены теперь на несколько групп, каждая из которых уж далека от других. Но некогда все эти группы были только наречиями одного языка. Мы не имеем памятников первобытного арийского языка. Но по сравнению корней и форм произошедших от него языков мы видим, что некогда он был изолирующим, мало-помалу стал агглютинирующим и что возникновение флектирующего способа производства форм в нем — явление периода сравнительно уж очень позднего.

В новых арийских языках этот способ постепенно утрачивает свое значение: глаголы флектирующего спряжения или заменяются глаголами агглютинирующего спряжения, или сами переходят в это спряжение; агглютинация, всегда сохранявшая в арийских языках преобладание над флектированием, начинает вытеснять его. Вместе с тем увеличивается пропорция слов, являющихся в конструкции речи бесформенными; в этом направлении уж очень далеко пошли два из главных нынешних языков арийского семейства, — французский, в живой речи, отбросивший множество из тех форм, которые еще удерживаются на бумаге правописанием, и английский, не только в живой речи, но и на письме.

Когда было установлено распределение языков на изолирующие, агглютинирующие и флектирующие, лингвисты восхищались флектированием корней в арийских языках. Многие и до сих пор говорят об этой особенности их с восторгом. Хорош или нет флектирующий способ образования грамматических форм сам по себе, об этом можно думать как кому нравится. Это будет вопрос, подобный тому, блондины или брюнеты красивей; когда об их красоте рассуждают девицы, разговор бывает очень занимателен для ведущих его девиц и может, как гимнастика юных умов, заслуживать одобрение людей солидных лет, если сами девицы помнят, что вопрос, разрешаемый ими, несколько глуповат. Но

никто из посторонних людей не мог бы одобрить этих девиц, если б они вздумали восхищаться, например, как брюнетом, человеком, у которого между русых волос растет клочок темнокаштановых. Девицы едва ли когда впадают в такие ошибки суждений. Но почтенные люди, которые превозносят арийские языки за флектирование корней, восхищаются тем, что арийская этимология представляет нечто подобное волосам того человека, у которого на фоне одного цвета вырос клочок другого цвета.

В семитических языках все корни флектируются, и все флектируются по одному и тому же порядку флектирования. Всякое арабское слово, имеющее форму хамд, то есть по арабской схематике форму

1 а 2 3

— существительное имя; всякое слово, имеющее форму махмуд, то есть по арабской схематике форму

ма 1 2 у 3

— причастие страдательного залога; таким образом, никакой путаницы не происходит. То ли в арийских языках? Берем для примера немецкий. В нем находится, как мы говорили, около 200 флектирующих глаголов. Имеют ли они какую-нибудь определенную гласную для образования неопределенного наклонения? Просматривайте их список, вы увидите, что их корни в форме неопределенного наклонения представляют все пять чистых, все три смягченных гласных звуков немецкого языка и все двугласные, какие есть в нем; например:

A	back — en
Ae	gähren
E	geb — en
I	bind — en
O	komm — en
Oe	könn — en
U	ruf — en
Ue	müss — en
Au	hau — en

и т. д.; достаточно и этого.

Понятно, что путаница форм была бы велика, если бы и каждый класс этих глаголов флектировался по одному определенному порядку; но нет и этого ограничения путаницы: в каждом классе соединены глаголы, флектирующиеся по разным порядкам. В немецком спряжении три основные формы: неопределенное наклонение, 1 лицо единственного числа прошедшего времени изъявительного наклонения и прошедшее причастие. Берем для примера тот класс флектирующих глаголов, которые имеют в неопределенном

наклонении букву е. Их насчитывается около пятидесяти. Посмотрим, какие формы имеют в них прошедшее и причастие.

Неопределенное наклон. Прошедшее время Прошедшее причастие

berg — en	barg	ge — borg — en
fecht —	focht	ge — focht — en
fress — en	frass	ge — fresse — en.

Итак, вот три разные пути флектирования глаголов, имеющих в неопределенном <наклонении> гласную е. Кроме глаголов, входящих по этим трем путям, есть в том же разряде несколько глаголов, у которых флектирующие формы перепутаны с агглютинирующими, как, например:

brenn — en	brann — te	ge — brannt,
------------	------------	--------------

и к довершению восторга ученых, восхищающихся флектированием корней в арийских языках, тот же разряд представляет такие ди-ковинки:

denk — en	dach — te	ge — dacht
geh — en	ging	ge — gang — en
steh — en	stand	ge — stand — en.

Припомним, что, кроме флектирующих глаголов, находится в немецком языке множество глаголов, имеющих в неопределенном наклонении вид совершенно сходный с флектирующими, но спрягающихся исключительно агглютинирующимся способом; прибавим, что есть множество всяческих других слов — существительных, прилагательных, наречий, даже предлогов и союзов, имеющих совершенно такой же вид, как та или другая форма флектирующих глаголов, и мы получим приблизительное представление о путанице, какую производят в немецком языке флектирующие глаголы и производные от них всяческими несообразными одна с другой подстановками гласных флектированные существительные. Но всякое представление об этой бестолочи, не разъясненное попытками разобрать ее, будет слишком слабо сравнительно с тем, что мы увидим, когда возьмем немецкую книгу и начнем разбирать по клеткам форм читаемые нами в ней слова. Мы получим результаты, способные повергнуть впечатлительного человека в отчаяние. Например, каждая из простых форм спряжения раздробится по нескольким десяткам клеток, и в одних клетках с прошедшими или настоящими временами, или повелительными, или неопределенными наклонениями лягут именительные и всякие другие падежи существительных, сказуемые формы прилагательных и пр. и пр. Это нечто гораздо худшее, нежели совершенная бесформенность слов изолирующих языков; это нельзя назвать иначе, как этимологическим хаосом. Почти то же самое в английском языке, в котором почти столько же флектирующих глаголов, как и в

немецком. Перешедши к французскому языку, увидим то же самое, но, если можно так выразиться, в удвоенной степени хаотичности: кроме той путаницы, которую производят собственно французские формы флектирования, второй комплект бестолочи влагается в этот хаос уцелевшими клочками флектирования не по французскому способу, а по латинскому.

Не следует придавать чрезмерной важности элементу бестолковщины, вносимому флектированием в устройство немецкого, английского и французского языков. Не в том главное дело, каковы формы языка, а в том, каково умственное состояние народа, говорящего языком. Есть ирландское предание, что жил на свете такой сильный герой, который убивал медведя соломиной \*. На самом деле таких исполинов не бывает; но действительно человек сильный может производить большую массу тяжелой работы орудиями, которыми не сдвинут с места ничего тяжелого слабые люди, и хороший мастер может выделять изящные вещи орудиями очень грубыми. Если бы языки передовых народов были последовательнее в деле образования грамматических форм, эти языки были бы более удобными орудиями правильной речи. Так; но и при нынешнем состоянии своих языков, очень неудовлетворительном с этимологической точки зрения, передовые народы говорят и пишут очень хорошо.

Кто не хочет изобретать или повторять вздора о характере языков, должен ограничивать свои суждения об их достоинствах или недостатках высказыванием справедливой мысли, что гибок, богат и при всех своих несовершенствах прекрасен язык каждого народа, умственная жизнь которого достигла высокого развития.

Классификация языков на первой своей ступени подразделения, распределяющей их на три разряда по грамматическому строению, имеет только техническое, специальное значение. Для истории народов эта группировка не представляет никакой действительной важности, и мы говорили о ней так много только потому, что наше арийское самохвальство сделало ее подкладкой для пустых панегириков необыкновенному уму нашего арийского семейства и для клеветы в унижение народов, говорящих нефлектирующими языками.

Разряды языков мало совпадают с делением людей по расам: изолирующими языками говорит только часть желтой расы; к народам, говорящим агглютинирующими языками, принадлежит часть желтой расы, краснокожая и малайская расы (если считать их не видоизменениями желтой, а коренными расами), черная раса (насколько известны ее языки) и некоторые отделы белой расы. Впрочем, эти отделы белой расы немногочисленны, и огромное большинство ее говорит флектирующими языками. Следующую сту-

---

\* Вместо стрелы он клал на тетиву соломину. Лук был так крепок, что соломина летела с силой, убивавшей медведя.

пень подразделения людей по языку образует классификация их по семействам языков, соединяющая в одну группу те языки, в которых корни слов одинаковы. Эти группы уж имеют довольно низкое соответствие с исторической жизнью.

Из двух семейств народов, говорящих флектирующими языками, одно, семитическое, вероятно, должно признать еще составляющим такую группу людей, все члены которой могут узнавать по языку, что они более родственны между собою, чем с другими людьми белой расы.

Для народов арийского семейства это время давно прошло. Не только бенгалец и француз, но даже немец и француз или славянин не могут заметить никакого родства между своими языками, если не знают о нем из ученых исследований; это было так уж и в древнейшую из эпох, от которых дошли до нас письменные памятники арийских языков европейской отрасли: римляне не замечали родства кельтского и германского языков с латинским. Греки не видели родства иллирийского языка с греческим. Исключением, кажется, было отношение между италийскими наречиями и греческим языком: у греков и италийцев возникло много рассказов о переселении греков в те части Италии, в которых народ говорит италийскими наречиями, и эти наречия считались видоизменениями эолийского диалекта, сильно испортившегося в Италии от влияния прежних туземных языков, которые впоследствии вытеснил он. Но рассуждения греческих и латинских писателей о родстве италийских наречий с греческим языком имеют очень сбивчивый характер.

Ограничиваясь отношениями между арийскими языками, мы видим на следующей ступени подразделения уже группы народов, в каждой из которых люди замечают по языку свое родство и могут легко научиться понимать друг друга. Таковы в Европе романская, немецкая и славянская группы языков. Неаполитанец и северный француз не понимают друг друга, но замечают, что их языки более родственны между собою, чем с немецким или каким-нибудь из славянских. Если мы предположим, что, поселившись в Германии, неаполитанец привыкнет хорошо понимать немцев и сам хотя неправильно, но легко говорить по-немецки в продолжение года, то мы должны предположить, что ему достаточно будет трех или четырех месяцев, чтобы в такой же степени усвоить себе французский язык, если он поселится в северной Франции. С провансальским наречием французского языка он свыкнется еще скорее. С довольно давнего времени у некоторой части образованного общества каждого из романских, немецких (кроме английского) и славянских народов существуют смутные мысли, что он и другие народы его частной группы европейских языков должны действовать как одно народное целое. Будучи возведены в теорию, эти мысли получают названия панроманизма, пангерманизма, панславизма. Если наша работа пойдет как должно, то в одном из от-

делов ее мы рассмотрим, какое отношение к потребностям и действительным стремлениям народов имеют эти теории.

На следующей ступени подразделения мы видим уже те группы людей, которые называются народами. Обыкновенная группировка народов романского и германского отделов арийского населения Европы такова:

#### Романская группа

*Португальцы, испанцы.* Северо-западная галисийская часть испанцев гораздо ближе по языку к португальцам, нежели к другим частям испанского народа; но историческая связь внушает этому отделу населения испанского государства мысль, что он часть испанского народа, а португальцы — народ чужой ему. Литература у галисийцев общая с другими испанцами.

*Французы.* Северо-восточная (каталонская) часть испанского народа ближе по языку к соседним французам, чем к другим испанцам. Но историческая связь и тут производит такое же действие, как в северо-западном углу испанского государства. Литература у каталонцев тоже общая с другими испанцами.

*Итальянцы.* Сицильянцы с трудом понимают жителей средней Италии и едва ли могут хорошо понимать пиэмонтцев раньше, чем проживут с ними недели две. Но литературное единство делает сицильянцев и пиэмонтцев одинаково горячими приверженцами государственного единства всей Италии. Общих исторических воспоминаний они имеют очень мало; со времен падения Римской империи до недавнего объединения Италии история Сицилии шла совершенно особо от истории Пиэмонты, Ломбардии, Венеции, даже Тосканы. С ходом дел в Риме история Сицилии имела связь, но лишь временами. Собственно говоря, в тесной исторической связи Сицилия постоянно была только с южной Италией.

Ладины, живущие в Граубюндене, говорят языком, близким к итальянскому, но не считают себя итальянцами.

*Румыны (точнее: романы).* В румынском языке очень велика примесь славянских слов; но он не меньше испанского или французского имеет право быть причисляем к романским языкам, как и причисляют его сами румыны.

#### Германская группа

*Немцы.* В последнее время некоторые из соседних с немцами народов стали очень горячо говорить о том, что население некоторых областей северной Германии не понимает языка некоторых областей южной Германии. Разница между этими частями немецкого народа по языку никак не больше, чем между норманцами и провансалами или тосканцами и сицилийцами. Мекленбургцы

и шварцвальдские швабы считают себя одним народом, хотят принадлежать к составу одного государства, имеют одну литературу; этого достаточно для того, чтобы признавать их действительно людьми одного народа.

У тех же соседних с немцами народов идут горячие рассуждения и о том, что люди, составляющие большинство немецкого населения северо-восточной Германии, не немцы по происхождению, а только онемеченные славяне. Кто такие эти люди по своему происхождению, славяне или абиссинцы, или сиамцы, все равно: теперь они такие же чистые немцы, как швабы.

*Голландцы.* По своему языку голландцы гораздо ближе к соседним немцам, нежели эти немцы к швабам. Голландский язык с филологической точки зрения лишь одно из наречий нижненемецкого языка. Но у голландцев своя особая литература, родство которой с немецкой никак не больше, чем с французской; голландцы считают себя особым народом, хотят оставаться государством, особым от Германии. Потому в историческом и во всяком другом реальном смысле они народ, отдельный от немцев.

*Англичане.* С филологической точки зрения английский язык тоже только одно из наречий нижненемецкого языка, принявшее в свой словарь громадную массу слов норманского наречия французского языка, но сохранившее нижненемецкий характер в своем грамматическом строе. Должно однакоже прибавить, что фонетика англосаксонского наречия очень сильно изменилась при переходе его в нынешний английский язык, и потому этот язык точно так же непонятен немцам, как французский или итальянский. Его близкое родство с немецким имеет значение только для людей, занимающихся лингвистикой; в действительной жизни оно утратило всякое значение.

В Ирландии считается очень мало людей, говорящих по-ирландски; это лишь старики и старухи некоторых особенно глухих местностей. Через двадцать лет не останется в Ирландии людей, знающих ирландский язык, кроме специалистов, которые изучают его по книгам. Газеты ирландской национальной партии пишутся чистым английским языком. Речи в национальных митингах говорят на английском языке. Ирландское наречие его отличается от языка лондонцев только особенностями выговора, такими же маловажными, как особенности наречия нортгомберлендского или йоркского графств.

*Датчане, норвежцы, шведы.* Языки этих народов гораздо ближе между собою, чем к другим германским языкам, и потому составляют особый отдел германской группы, называемый скандинавским. Есть во всех трех скандинавских народах люди, желающие, чтобы они соединились в одно государство; но кажется, этот панскандинавизм ненавистен массе каждого из трех народов, соединения которых желают панскандинавы.

Норвегия очень долго была соединена с Данией под властью одного короля; датчане были в те времена более цивилизованы, чем норвежцы; под двойным влиянием правительства и литературы норвежский язык заменился в городах и больших селениях датским, так что уцелел только в глухих, малолюдных местностях. Теперь есть в Норвегии люди, желающие возобновить преобладание норвежского языка в его родной стране, но масса норвежцев кажется нерасположенной покинуть датский язык, ставший родным для нее, и учиться забытому прежнему языку.

В Исландии люди продолжают говорить почти без всякой перемены тем языком, каким говорили их предки норвежцы, переселившиеся в Исландию. Все три скандинавские языка были тогда очень близки один к другому, так что нынешнее исландское наречие кажется и датчанину и шведу старой формой его языка.

В лингвистическом смысле народ составляют все люди, говорящие одним языком.

Географический смысл слова «народ» не вполне совпадает с лингвистическим, а в некоторых случаях разница очень велика.

Под словом «народ» при классификации людей по географическим группам понимается масса людей, говорящих одним языком и живущих вместе, так что пространство, населенное ими, или вовсе не имеет постоянных жителей, говорящих не на их языке или по крайней мере эти люди по их языку образуют лишь незначительную пропорцию общего населения страны. Так, например, испанским народом в точном географическом смысле слова называют говорящее на испанском языке население Испании. Та часть Испании, в которой большинство населения говорит на баскском языке, не принадлежит к стране испанского народа, хотя составляет часть Испании в государственном смысле слова. Кроме тех людей испанской народности, которые живут в Испании, есть довольно большое число испанцев, живущих в странах других народов, например, в Англии. Пока они продолжают говорить испанским языком, они остаются в лингвистическом смысле слова испанцами. Но когда мы употребляем слово «народ» не в лингвистическом, а в географическом смысле, мы должны сказать, что эти испанцы перестали принадлежать к составу испанского народа со времени своего переселения из Испании в страну чужого народа. Такие переселенцы вообще сохраняют симпатию к своей родной стране, обыкновенно желают участвовать в ее жизни, до некоторой степени и участвуют, например, читают испанские книги и, если могут, то испанские газеты, предпочитают иметь дело с испанскими торговыми центрами, насколько это не представляет особенных затруднений и денежных невыгод, стараются помогать делам, какие имеет их родной народ с народом, между которым живут они, даже отправляются волонтерами в испанские войска, когда Испании

угрожает большая военная опасность. Но все это лишь некоторые остатки прежней полной связи с исторической жизнью родной страны. Связь уже стала очень не полна с самого времени переселения в страну чужого народа, постоянно слабеет и, вообще говоря, через несколько поколений исчезнет совершенно; это относится к переселенцам, живущим в чужой стране маленькими группами, как испанцы в Англии. Если масса переселенцев в одну местность чужой земли велика и они образуют в ней единственное или совершенно преобладающее население, то могут неопределенно долгое время сохранять тот язык, с каким перешли из родной страны в чужую; новая местность, занятая переселенцами, становится их новой отчизной. Эти переселения больших масс делятся на два разряда: один из них тот, когда переселенцы заняли страну почти безлюдную или хотя имеющую население довольно многочисленное, но по своей сравнительной неразвитости мало способное сопротивляться переселенцам, подчиняющееся не только политическому, но и умственному владычеству их. Таковы были переселения испанцев в Америку. Другой разряд составляют те случаи, когда большая масса переселенцев образовала сплошное население области в стране, соседние части которой имеют многочисленное население более сильное, чем переселенцы. В истории испанского народа таких случаев не было; но несколько примеров этому представляет история переселений немецкого народа. Из них особенно интересен с научной точки зрения случай переселения довольно большой массы немцев в Трансильванию, часть которой они заняли, так что стали совершенно преобладающим по числу населением этой области. Они переселились в Трансильванию в половине XII века. С той поры прошло более семи столетий. Потомки переселенцев составляют менее 250 000 человек. Область, занимаемая ими, находится очень далеко от ближайшей границы страны немецкого народа. Они имели очень мало сношений с немецким народом. С самого переселения своего в Трансильванию они находились под властью иноплеменников, венгров, и довольно долгое время под владычеством турок, которым повиновалось венгерское правительство Трансильвании. И однакоже, они остаются чистыми немцами по языку и по обычаям. Сравнивая их с немцами тех областей северо-западной Германии, из которых переселились они, мы находим, что их наречие теперь представляет довольно большое различие от наречия, на котором говорят их соплеменники, оставшиеся на родине. Главная разница состоит в том, что у них прежнее наречие изменилось гораздо меньше, чем у их соплеменников на родине, и обычаи с какими ушли они, удержались у них крепче. Те же черты представляют две массы французского населения в северной Америке: первая сплошная масса, центр которой Нью-Орлеан, и северная, остающаяся преобладающим по числу населением в

значительной части Нижней Канады. Эти переселения произошли сравнительно недавно, всего только лет 200 тому назад; но и луизианские и нижнеканадские французы уже довольно много отличаются своим языком и еще больше своими обычаями, понятиями, политическими стремлениями от своих соотечественников, живущих в самой Франции. Значительность разницы тем более замечательна, что прошло всего лишь 125 лет после перехода Луизианы и Нижней Канады под власть иноплеменников: до окончания семилетней войны Луизиана и Нижняя Канада принадлежали к французскому государству: правители и войска были там приезжие из Франции. В период времени, охватывающий только четыре поколения, развилась разница, достигшая теперь значительной резкости. Характер разницы и главная причина ее те же самые, какие проявляются при сравнении трансильванских немцев с их соплеменниками в северо-западной Германии: французский народ во Франции много изменился со второй половины прошлого века, американские французы сохранили старые выражения, понятия, обычаи, стремления, заменившиеся во Франции другими. Например, язык нижнеканадских французов — чистый французский, но старинный язык. Сочувствие Франции у нижнеканадских французов остается очень сильно, а до преобразования государственных отношений Нижней Канады к Верхней Канаде, имеющей английское население, и к центральному английскому правительству — симпатия этих французов к Франции была еще сильнее; они имели горячность патриотического фанатизма, какого достигало национальное чувство во Франции лишь в эпохи великих военных бедствий. У луизианских французов остается, кажется, и до сих пор фанатическая любовь к Франции. Она была возбуждена до страстной силы ненавистью к правительству Соединенных Штатов за отмену невольничества, горячими защитниками которого были луизианские французы; ненависть к своему правительству переходила у них в желание присоединиться к французскому государству, правительство которого помогало рабовладельцам южных штатов в их войне с союзным правительством. Теперь это чувство, вероятно, несколько улеглось в луизианских французах, но, кажется, все еще сохраняет страстную силу. Однакоже, при всем своем французском патриотизме, нижнеканадские и луизианские французы несравненно более заняты своими местными делами, чем делами Франции. При всем их сочувствии ей, историческая жизнь их идет совершенно отдельно от ее жизни.

Другой разряд случаев переселения масс в далекие земли история испанского народа представляет в громадном размере. Испанцы покорили Мексику, Центральную Америку, большую половину Южной Америки и переселились в эти земли большими массами. Некоторые из занятых ими американских стран имели довольно многочисленное население, но оно не умело сражаться,

было покорено отрядами, состоявшими лишь из нескольких сот человек, могло после того ненавидеть завоевателей, подымать мятежи против них, но свергнуть с себя их владычество не имело силы. Во время мятежей туземцев могли погибать многие из испанцев, живших в возмущившейся области; маленькие отряды испанского войска могли быть истребляемы туземцами, но серьезной опасности испанскому владычеству эти мятежи не представляли и были без труда подавляемы. Уж с очень давнего времени американские испанцы полагали, что могут поддержать свое владычество над туземцами без всякой помощи испанского правительства, что подвластность ему вовсе не нужна для них, и желали совершенно отделиться от Испании. Они делали попытки этого рода, но были усмиряемы войсками, присылаемыми из Испании. Только когда силы Испании были поглощены борьбой с французами, установились местные правительства в американских землях, занятых испанскими переселенцами, и успели сформировать такие военные силы, что отбили от войск испанского правительства, которое, по удалении французов из Испании, хотело восстановить в Америке свою власть, сделавшуюся только номинальной в годы нашествия французов на Испанию. — По прекращении войн с испанским правительством за независимость американские испанцы имели много ссор с ним; некоторые из этих ссор доходили до войны. Теперь испанское правительство и народ уже совершенно отбросили мысль о возможности покорить испанские государства Америки и не имеют никакой надежды на то, чтобы хотя одно из этих государств добровольно признало в какой бы то ни было форме и хотя бы в самом ограниченном размере власть испанского правительства над ним. Испанцы американского континента, по всей вероятности, уже совершенно спокойны в этом отношении. Но, кажется, они все еще остаются враждебны испанскому правительству и кажется, что все партии, поочередно управлявшие Испанией, сохраняют неприязнь к испанским государствам американского континента. Однакоже и во времена ожесточенной войны для подавления американских инсургентов, когда испанские войска не брали побежденных в плен, расстреливали всех попадавшихся им в руки, истребляли населения целых городов, а инсургенты расстреливали всех пленных испанцев, сажали на корабли и прогоняли за море всех уроженцев Испании, живших между ними, это была лишь временная ссора между родными. Американские испанцы говорят тем же языком, как европейские испанцы. Литература европейских и американских испанцев остается общая национальная. Так; но со времени установления независимости испанских государств в Америке, их историческая жизнь идет отдельно от жизни Испании.

Когда довольно многолюдная часть людей известного языка переселится в другую страну и составит особое государство или

по крайней мере общество, живущее своей особой жизнью, отдельной от народа, из которой вышла, то через несколько времени это новое государство или общество непременно приобретет какие-нибудь различия от народа, из которого вышло, или народ тот изменится, между тем как вышедшее из него особое общество сохранит старину. Это так, но при оценке различий обыкновенно делаются громадные преувеличения. Известно, что, по мнению жителей любой сельской местности, только в ней люди говорят чистым языком, а в соседних местностях язык дурен, так что смешно и гадко слушать его звуки; между тем как посторонний человек находит разницу этих двух соседних наречий или незначительной, или даже фантастичной, на самом деле вовсе не существующей. Случайным образом люди соседнего селения стали в прошлом году употреблять какое-нибудь одно слово, не совсем привычное соседям, судящим об их языке; этого достаточно, чтобы смеяться над ними, найти их наречие дурным; через год вышло у них из моды слово, подавшее повод к насмешкам и порицаниям, но мнение о них уже сложилось и будет держаться, хотя исчезла и ничтожная фактическая опора для него: вздор, как известно, вещь очень легкая, вроде маленьких воздушных шаров, которые теперь покупаются на забаву детям, а недавно были очень модным развлечением и у взрослых; воздушные шары, как этот вздор, прекрасно носятся по воздуху без всякой опоры.

Когда группа людей, хотя и довольно многочисленная, но составлявшая лишь незначительную часть своей страны, переселяется в другую страну и перестает участвовать в развитии понятий и учреждений больших государств, то, оказываясь отсталой от передовых народов, она через несколько времени окажется непохожей на массу народа, из которой вышла. Это случилось, как мы видели, с трансильванскими немцами, с французами в Луизиане и Южной Канаде. Трансильванские немцы жили между народов, которые по уровню своей цивилизации были гораздо ниже немцев западной Германии: чему могли учиться они от румунов, составлявших массу населения Трансильвании, от секлеров (трансильванских венгров), занимавших привилегированное положение в этой стране, от сербов, ближайших соседей Трансильвании с юга, или от турок, державших под свою власть Трансильванию? Понятно, что у немцев Трансильвании более или менее ослабевала и та образованность, с какой они пришли туда. А немцы западной Германии развивались, сообразно успехам развития изменялся и язык их; трансильванские немцы продолжали говорить прежним языком, и наречие, которым говорят их соплеменники в западной Германии, оказывается не таким, какое уцелело у них. Французы в Луизиане стали рабовладельцами или домашними людьми рабовладельцев; у них явилась вражда к просвещению, распространение ко-

того было опасно для рабовладельческих прав; понятно, что они отстали от развития французского народа, и язык их не принял нововведений, какие получил во Франции. Население Нижней Канады усвоило себе полукочевые обычаи охотников или жило разбросанно по огромному пространству земли под феодальной властью крупных землевладельцев, называвшихся сеньерами; оно отстало от развития жизни французского народа, и язык его сохранил старинный характер. Но случаи подобного рода не могут считаться общим правилом. Финикияне, переселяясь на северный берег Африки, в Сицилию, в Испанию, вели там такой же образ жизни, как народ, оставшийся в самой Финикии; улучшения или ухудшения понятий и обычаев шли приблизительно одинаковым ходом в Тире, Карфагене, Утике и европейских колониях финикиян. Мы не видим, чтобы карфагеняне через 600 лет после своего переселения в Африку различались чем-нибудь от народа, оставшегося в Финикии. Правда, наши сведения о быте и языке финикиян и карфагенян скудны, но не до такой степени, чтобы правдоподобно было объяснять их неполнотой отсутствие упоминаний о различии карфагенской народности от финикийской. Впрочем, мы говорим о финикийских колониях лишь для того, чтобы пропуск не возбудил предположения, будто бы пример их свидетельствовал бы против возможности сохранения национальной одинаковости между людьми одного языка, расселившимися по разным странам. Переходим к греческим колониям. О них нам положительно известно, что они сохраняли во всей чистоте греческую национальность, пока оставались независимыми от туземцев. Были три или четыре колонии, в которых население стало говорить не таким языком, как его соплеменники, оставшиеся в Греции; главный пример этого представляет город Солы, находившийся на южном берегу Малой Азии, в далеком расстоянии от всех греческих других колоний. Этот и очень немногие другие случаи, в которых колонисты утрачивали чистоту греческого языка, объясняются особенными причинами, под влиянием которых потерпел бы порчу греческий язык и в Пелопоннесе, и в Аттике (как и действительно потерпел в Пелопоннесе, когда туда проникли славяне в таком числе, что составили большинство населения). Когда этих обстоятельств не было, язык колонистов оставался чистым; он оставался таким в сотнях греческих колоний, а исключения составляют три или четыре. Когда колония находилась в литературной связи с той областью, из которой вышли ее жители, наречие их или сохранялось таким же, каким продолжала говорить их родная область, или, если оно изменялось в их родной области, то изменялось точно так же и у них; в обоих случаях наречие было одинаковое у них и в их родной области. Знаменитый пример того Антиохия. Несколько раньше 300 года до нашей эры часть жителей Аттики была переселена в Сирию. Новый город этих пленников

был назван Антиохией. В половине V века нашей эры антиохийцы еще славились чистотой своего аттического языка; а между тем они прожили уже более семи столетий очень далеко от Аттики. Мы не имеем никаких упоминаний о том, чтобы в половине IX века нашей эры сицилийские и южноиталийские греки говорили языком сколько-нибудь различным от языка Греции (и Византии); а между тем они жили отдельно от нее уже полторы тысячи лет. Язык греческого народа в эти полторы тысячи лет очень много изменился, но сицилийские и южноиталийские греки оставались в литературном единстве с Грецией, и язык их изменялся точно так же, как у народа, жившего в ней.

В настоящее время очень большую важность представляет вопрос об отношениях народности североамериканцев к английской народности. Остаются ли североамериканцы людьми той же национальности, как англичане, или у них уже развилась особая национальность? И если теперь они еще не очень различны от англичан по языку, то через некоторое довольно отдаленное время, например, лет через двести или триста, не будут ли они настолько же различны от англичан, как, например, итальянцы от испанцев или датчане от шведов? О том, что будет через двести лет, можно судить лишь по соображению хода, какой имели факты до сих пор, и делать предположения о будущем следует не иначе, как с оговоркой: «если ход обстоятельств будет такой же, как был до сих пор».

Вот уже сто лет, как английское население Северной Америки сделалось независимым от английского правительства. В это время непрерывно происходил очень большой прилив переселенцев в Соединенные Штаты; англичане составляли только меньшинство новых переселенцев. Большинство их состояло из ирландцев и немцев. Немцы — люди совершенно не английской национальности, но нельзя назвать англичанами и людей ирландской народности, хотя она гораздо менее различна от английской, чем обыкновенно говорится. Полагают, что постоянный прилив этих двух главных и довольно большой массы всяческих других иноплеменных переселенцев очень сильно изменяет прежнюю национальность населения Соединенных Штатов, так что уже по влиянию этой одной причины она сделалась очень различна от английской и будет делаться все более различной от нее. Подобное этому влиянию иноплеменных языков, обычаев и понятий производит, по мнению очень многих специалистов, сама страна особенностями своего климата, изменяющими телосложение европейцев, переселившихся в Соединенные Штаты; с переменой телосложения, конечно, изменяется и характер людей. О влиянии климата Соединенных Штатов эти специалисты рассказывают удивительные вещи. Климат этой части Северной Америки, по их уверению, чрезмерно сух; от сухости воздуха сохнет тело; прославляемая ими в этих рассуждениях европей-

ская гармоническая округленность форм исчезает; люди становятся сухощавыми; черты их лица теряют европейскую грациозность, становятся угловатыми, в особенности заметна перемена очертания шеи: высыхая, она становится тонкой, длинной; может быть, менее отвратительно для зрения, но ужасно для филантропа изменение характера груди, все от той же чрезмерной сухости воздуха. Грудь становится узкой, не дает простора развитию легких; к чему это ведет, понятно всякому, хоть раз заглянувшему в учебник физиологии; уменьшающийся объем легких уменьшает силу жизни; жители Соединенных Штатов обречены климатом своей страны на вымирание от истощения; если число населения в Соединенных Штатах не уменьшается, а растет, это происходит от прилива крепких людей из Европы; он с избытком замещает убыль населения от вымирания тех семейств, которые уже несколько поколений подвергались губительному действию североамериканского климата. Нельзя, к прискорбию, пройти молчанием и другие черты физической перемены, еще более омерзительные, чем длиннота сухой шеи и угловатые черты лица. Вьющиеся шелковистые европейские волосы грубеют, толстеют, становятся прямыми; это уж не прелестные волосы белой расы, а нечто среднее между ними и волосами конских хвостов, совершенно как у краснокожих. Цвет лица тоже утрачивает прелестную европейскую свежесть, становится тусклым, получает оттенок грязноватости; он еще не сделался таким грязнокрасным, как у краснокожих туземцев, потому что было еще мало времени для произведения перемены во всем ее размере; но очевидно, что перемена идет к превращению европейцев в краснокожих. — Эта перспектива действительно так печальна, что отрадой может служить лишь одно: прежде чем потомки европейцев в Соединенных Штатах превратятся в краснокожих, они вымрут. Смерть их избавит нас от унижения видеть краснокожую расу, хвалящуюся происхождением от нашей, претендующую на равенство с нами. Вероятно, нам уже теперь пора подумать о том, как спасти современные и будущие поколения наших европейских братьев от судьбы, на которую обречены переселившиеся в Северную Америку европейцы. Плавание из Европы в Северную Америку должно воспретить. А когда оставшееся без прилива свежих европейских людей североамериканское население вымрет, надобно будет построить кругом опустевшей страны стену без ворот. Снаружи будут по сухопутным границам ходить караулы, а по морским крейсировать сторожевые корабли и гнать назад безумцев, которые захотели бы перелезть через стену в страну физической и нравственной гибели.

Любопытно то, что у самих североамериканцев появились специалисты, повторяющие некоторые из мрачных рассуждений европейских специалистов о губительном влиянии североамериканского климата; он действительно сушит тело, и хотя не превра-

щает европейских переселенцев в краснокожих, но имеет другой тоже ужасный результат высыхания тканей: в нервах остается слишком мало влаги; они получают лихорадочную деятельность; вот собственно эта нервическая горячка и убьет белое население Соединенных Штатов; она уже начала убивать его, смерти предшествует, как и должно быть при непрерывной нервической горячке, расстройство умственных способностей: белые в Соединенных Штатах сходят с ума целыми массами. Пропорция этих несчастных быстро растет.

Мы назвали любопытным фактом то, что между североамериканскими специалистами явились соревнователи тем из европейских, которые с печалью обрекают североамериканцев на гибель. Но этот случай замечателен лишь как одно из очень крупных и смешных проявлений склонности людей повторять о себе самих в переделанном виде пустые выдумки врагов. Зависть европейцев к быстрому развитию могущества и благосостояния Соединенных Штатов породила в числе всяких других злоречивых изобретений и клевету на климат страны ненавистного государства. Между североамериканскими учеными нашлись люди, занявшиеся переделкой вздора на другой лад, — это совершенно в порядке вещей. Климат североамериканских штатов имеет вредное действие; этот вздор принят за правду; но вредному действию придано не унижающее, а возвышающее направление: под влиянием климата энергия умственной деятельности североамериканского населения достигает размера, превышающего силы человеческого организма; это печально, но очень почетно для североамериканцев: погибать от избытка умственных сил — такая славная гибель. Это судьба Пико-де-Мирандолы и Паскаля<sup>9</sup>. Рафаэль и Моцарт тоже умерли от изнурения организма избытком умственной силы.

С чего взяли европейские ученые, завистники Соединенных Штатов, говорить, будто бы климат этой страны вреден для людей европейского происхождения? Широким основанием для этого послужило ошибочное истолкование фактов ботанической и зоологической географии, сделанное раньше того другими специалистами без всякого злого умысла, просто по недоразумению. Суша земного шара делится на несколько областей, в каждой из которых растет особая флора, живет особая фауна. Сколько этих областей, о том идет спор; но некоторые из них принимаются единогласно всеми специалистами; одна из таких бесспорно особенных ботанических и зоологических областей — Северная Америка. В горячности первого восторга от открытия, что суша земного шара делится на несколько так называемых ботанических и зоологических царств, специалисты сделали преувеличенный вывод, будто бы никакой вид растений или животных не может быть перевезен из своей родной области в другую без того результата, что в новой стране он переродится и получит характер,

принадлежащий туземным растениям или животным. В некоторых случаях перерождение действительно бывает, но для этого нужны не такие разницы климата, как между Европой и Северной Америкой, а такие, как между северной Европой и экваториальной Америкой. Недавно произошла в Соединенных Штатах забавная история, начавшаяся приятно для существ, бывших ее героями, но получившая продолжение трагическое для них. В Северной Америке не было воробьев; североамериканцы желали развести у себя этих птичек, полезных истреблением гусениц и развившихся насекомых, делающих вред растительности; вперед огорчались североамериканцы тем, что попытки развести у себя воробьев будут напрасны. В своей безнадежности они даже не делали этих попыток. Но какими-то судьбами, на каком-то корабле, под палубой которого, вероятно, был по небрежности рассыпан мешок зернового хлеба, приплыло в Соединенные Штаты несколько воробьев; они стали порхать по паркам города, куда приплыли, — кажется, в Нью-Йорк; и вместо того чтобы погибнуть, как следовало бы по неумолимому закону природы, принялись плодиться. Деревья парков очистились от вредных насекомых; жители города радовались. Воробьи разлетелись по соседним фермам, дальше и дальше, стали появляться в других городах; повсюду радовали жителей, очищая деревья от вредных насекомых. Но скоро расплодился до такой степени, что, как и в Европе, сделался убыточными сельским хозяевам, поедая огромное количество зерен на нивах; сельские хозяева стали стрелять их, разводить кошек на погибель им; но, наперекор ружьям, кошкам и неумолимому закону природы, воробьи размножаются и размножаются. Из этого видно, что неумолимые законы природы бессильны, когда сочинены учеными по недоразумению. Чем, кроме смеха, отвечать на такие нелепицы, как выдумки о вырождении всех европейских растений и животных в Северной Америке, где точно так же, как в Европе, растут все перевезенные туда европейские хлеба, овощи, цветы, не хуже, чем в Европе, живут все европейские домашние птицы и млекопитающие? — При развитии полемики против аболиционистов закон природы, о котором идет речь, был применен защитниками рабства негров и к вопросу о человеческих расах. Само собою разумееется, что вышло: в южных штатах климат оказался не допускающим работы белых на плантациях. В Венесуэле, Гранаде, Перу, где климат гораздо более зноен, белые, не имея рабов, возделывали нивы и плантации без всякого вреда своему здоровью, напротив, с пользойю для него и для своего кармана; но в южных не могли обходиться без невольников, пока рабство не было отменено. Начавшись с невозможности белым работать в южных штатах, дело распространилось на белых во всей Северной Америке. По закону природы всякое живое существо вырождается

при переселении из своей географической области в другую; ясно, что европейцам нельзя не вырождаться в Северной Америке. Вперед зная, что такое должны увидеть по неумолимому закону природы, ученые стали смотреть на людей европейского происхождения в Соединенных Штатах и увидели то, что следовало увидеть: вырождение, порчу; увидели между прочим прямые, толстые волосы и тусклый цвет лица у людей с шелковистыми, вьющимися волосами и свежим, нежным, румяным цветом лица.

Не стоит опровергать дикую выдумку, будто у людей белой расы в Северной Америке портятся волосы и цвет лица. Но вопрос о шее и груди надобно рассмотреть ближе. Вообще говоря, шея североамериканских простолюдинов длиннее, чем у их соплеменников, землепашцев и чернорабочих в Европе; но это оттого, что дети и внуки переселяющихся в Америку европейских простолюдинов вообще становятся выше своих отцов ростом. Кроме Швеции, Норвегии, северной Шотландии, Тироля, некоторых цвейцарских кантонов и некоторых уголков, простолюдины Западной Европы люди приземистого телосложения. Попадается между ними много людей высокого роста; но большинство их приземисты, на 5 или 10 сантиметров ниже ростом, чем люди высших сословий их племени и местности. В Соединенных Штатах простолюдины приобретают такой рост, такое телосложение, какие в Западной Европе имеет большинство дворянства. Приземистость заменяется стройностью. От чего происходит эта разница, вопрос, кажется, еще не разъясненный специальными исследованиями. Его легко решить на основании общих физиологических законов; только нельзя без точных исследований иметь уверенность, что решение правильно: быть может, тут, кроме общих сил органической жизни, действуют какие-нибудь особые комбинации их, еще неизвестные. Но если предположить, что результат производится не какими-нибудь частными сочетаниями сил, а прямо ими самими, то ход изменения представляется очень простым. Огромное большинство простолюдинов Западной Европы слишком обременено работой и начинает усиленно трудиться с возраста слишком раннего. Дело известное всем поселянам, не только физиологам, что лошадь, которую слишком рано начнут запрягать в плуг или в телегу, остается меньше ростом, чем лошадь той же породы, которая будет пользоваться двумя годами свободы дольше ее: если рост еще не закончен, лошадь, подвергнутая работе, растет меньше, чем пользующаяся свободой. Но когда лошадь, слишком рано начавшая работать, пользуется довольно сытным кормом, кости ее растут в толщину почти так же, как у лошади, свободной от работы, и мускулы, не удлиняясь, растут в ширину; потому она приобретает телосложение более тяжелое, она становится приземистой. То же самое относится и к рогатому скоту. Лошадь, рост которой задер-

жан преждевременной работой, имеет ноги и шею не более толстые, чем лошадь той породы, закончившая свое развитие на свободе от работы и потому достигнувшая полного роста; но у рабочей лошади ноги короче, потому кажутся более толстыми; шея у лошади, достигшей полного роста, длиннее, чем у рабочей (пропорционально тому, что и весь позвоночный столб ее длиннее); потому кажется менее толстой, чем у рабочей лошади. Толщина ног и шеи лошади, достигшей полного роста, не меньше или больше, чем у рабочей лошади той же породы, но пропорционально длине меньше, чем у этой приземистой малорослой лошади. То же самое известно всем о всяких других домашних млекопитающих, употребляемых на работу. Дети европейских простолюдинов, переселившихся в Америку, пользуются свободой от тяжелой работы дольше, чем дети простолюдинов, оставшихся в Европе. Если нет других частных причин, производящих увеличение роста детей европейских простолюдинов в Америке, оно производится этой общей причиной увеличения роста живых существ. Грудь американцев не менее просторна, чем грудь европейского простолюдина, плечи его не менее широки; но он выше ростом, потому кажется имеющим менее широкие плечи и грудь.

Он более стройного телосложения; сущность дела в этом. Следует ли назвать вырождением или порчей приобретение стройного телосложения? При всех порицаниях высшим сословиям Англии, при всех рассуждениях об угнетенном положении английских простолюдинов, специалисты в последнее время признавали, что состояние простолюдинов в Англии менее дурно, чем в других землях Западной Европы; труд их хотя и слишком продолжительный, все-таки менее продолжителен, чем на континенте; пища их хотя и недостаточная, все-таки менее скудна и дурна; потому их телосложение менее приземисто, чем людей их сословия на континенте. Как по своему экономическому состоянию, так и по телосложению английские простолюдины занимают средину между европейскими континентальными и североамериканскими; они стройнее, крепче здоровьем, сильнее континентальных, североамериканские стройнее, крепче здоровьем, сильнее их.

А сухость климата, от которого становятся худощавы европейские переселенцы в Америке? В Западной Европе простолюдины, которым удалось разбогатеть, ведут, вообще говоря, неподвижную жизнь, обжираются и спят, ничего не делая; потому становятся жирными. В Соединенных Штатах обычай не таков; разбогатевший простолюдин остается деятелен, хлопотлив, потому не жиреет. Сухость или влажность воздуха тут ни при чем. Туарег в Сахаре становится жирным, получив возможность обжираться и сидеть безвыходно в своем шатре. Не многим туарегам достается такое блаженство. Но есть другое племя в другой стране, регулярно проходящее из года в год процесс ожирения

и исхудания. Это киргизы степей на юге Западной Сибири. Зимой они голодают, и к весне становятся худы, как скелеты. Но когда кобылы ожеребились и начинается делание кумыса, они сидят и пьют его, сколько достанет силы пить. Скоро они становятся жирны до безобразия. Страна, в которой живут они, имеет климат более сухой, чем населенные части земли Соединенных Штатов. Масса английских простолюдинов еще сохраняет привычки старинной, неповоротливой жизни. В Соединенных Штатах даже сельские простолюдины имеют обычаи, какие принадлежат в Западной Европе только торговому сословию больших городов; это люди бойкие, умственная жизнь их деятельна; оттого и происходит впечатление, что нервы их работают гораздо сильнее, чем у европейских простолюдинов. Дело тут не в климате, а в особенностях экономического быта, в распространности надежды подняться до высокого положения в обществе. Масса европейских простолюдинов лишена этой надежды; у американцев каждый энергический простолюдин имеет ее.

Какое влияние на понятия и обычаи английского населения Соединенных Штатов имели иноплеменные переселенцы? Если разобрать дело внимательно, то, вероятно, получится ответ: не имели никакого. Они только сами усваивают себе понятия и привычки английского населения Северной Америки. В третьем поколении огромное большинство живущих там ирландцев, немцев и других европейцев оказывается совершенно утратившим свою прежнюю национальность, не имеющим никакого различия в понятиях и обычаях от людей английского происхождения. Едва ли иноплеменное влияние может отразиться на обычаях, не отразившись на языке; а язык североамериканцев чистый английский. В Соединенных Штатах есть, как и в Англии, областные наречия, но они имеют такой же характер, как и в Англии; это особые изменения английского языка, а не результаты примеси какого-нибудь другого языка к английскому. Тем языком, каким пишутся книги и говорят люди, получившие литературное образование в Англии, говорит в Северной Америке гораздо большая пропорция людей английского языка, чем в самой Англии. Местные наречия в Соединенных Штатах оттеснены этим языком гораздо больше, чем в самой Англии; и ход окончательной замены их литературным языком идет в Америке быстрее, чем в Англии. Это потому, что школьное образование более распространено в Соединенных Штатах и там гораздо больше, чем в Англии, пропорция людей, имеющих привычку читать газеты и книги. Литературный язык в Америке тот же самый, как в Англии. Когда англичане говорят, что североамериканский язык отличается от английского, они придают важность особенностям модной манеры говорить. Интонация речи в образованном обществе каждой страны — такое же дело моды, как покрой одеж-

ды; двадцать или тридцать лет тому назад в английском светском обществе были модными не те выражения, как теперь, и модная манера интонации была не та; через двадцать или тридцать лет нынешние модные выражения, нынешняя интонация будут заменены другими в английском обществе, будут меняться они и в американском обществе. Теперь есть разница в них между Северной Америкой и Англией, была прежде, будет и через десятки лет. Но эти различия модных выражений и интонаций лишь колебания около одного и того же общего уровня, одинакового в Англии и Северной Америке. Возьмем для примера разницу интонаций. Есть средний уровень быстроты речи, то есть количества слогов, произносимых в продолжение минуты. Пусть в данное время принят он. Изящному обществу начинает казаться, что эта манера говорить слишком вялая, оно ускоряет выговор; через несколько времени находит, что быстрый выговор трескотня дурного тона, и заменяет его медленным, певучим, потом возвращается или к умеренной скорости, или к очень быстрой и продолжает колебания в том же порядке. Само собой разумеется, что два самостоятельные центра моды редко будут в одно и то же время изобретать одну моду, почти постоянно будут иметь разные моды; но разница обыкновенно состоит в том, что мода одного центра уже покинута другим, который через несколько времени возвратится к ней, когда она уже будет покинута первым центром. Кроме различия в модной интонации, англичане не могут подметить в языке американского образованного общества никаких различий от английского. Когда они хотят выказать более зоркую проницательность, они приводят какой-нибудь десяток выражений; но пересматривая эти слова или обороты, другие англичане, более знающие историю своего языка, находят, что половина их недавно были употребительны в английском обществе, а другая половина — новые выражения, которые, пока смеялись над ними англичане, уж оказались входящими в употребление у самих англичан.

До сих пор нет никакого признака, что английский язык в Америке становится различен от языка Англии; напротив, по мере того как распространяется литературное образование в той и в другой стране, исчезают те диалектические различия, какие прокрались прежде из местных наречий в язык образованного общества или той, или другой страны, и тожество его в обеих странах очищается от этих различий, бывших, впрочем, и сто лет тому назад уж маловажными. Язык Франклина — образцовый и для англичан; как язык Фильдинга<sup>10</sup> для американцев.

Сравнительно с вопросом о том, сохранится ли единство языка, литературы и образованности у всех частей народа, переселившегося или начинающего переселяться из Англии в другие страны, маловажны все другие вопросы подобного рода. Почти вся Северная Америка уже занята людьми, говорящими по-ан-

глейски; испанский язык удержал за собой только Мексику, утратив области более обширные, чем она; Австралия много превосходит величиной всю Западную Европу; пусть большая половина этого континента не способна принять многочисленное население, все-таки остаются очень обширные пространства, о которых уже и теперь несомненно, что они будут густо населены. Кроме того, есть несколько других довольно больших частей суши, берега которых уже заняты англичанами и о которых должно думать, что они будут заселены ими. Пространства, занятые в Америке людьми испанского и португальского языков, тоже огромны; но увеличение населения их идет гораздо медленнее, чем в малонаселенных землях, занимаемых англичанами. По самому умеренному расчету, число людей английского языка будет через 50 лет превышать 200 миллионов. Оно уже и ныне равняется всему числу людей, говорящих романскими языками, и далеко превышает число немцев. Вопрос теперь в том, долго ли останутся потомки людей английского языка в разных странах людьми одного и того же языка? По всей вероятности, останутся очень долгое время, такое долгое, что нельзя предвидеть конца ему раньше наступления каких-нибудь перемен в общей истории человеческого рода, и притом таких перемен, для которых теперь еще незаметно никаких подготовительных обстоятельств. Словом, судя по нынешнему ходу дел, наиболее вероятной представляется та перспектива, что люди английского языка получат влияние на историю человечества.

### 3

#### О различиях между народами по национальному характеру

Быт и события жизни людей определяются отчасти внешними фактами, независимыми от их качеств, отчасти собственными их качествами. Те группы людей, о которых рассказывает история, — народы, части народов, соединения народов или частей народов.

Из этих бесспорно справедливых мыслей само собою следует, что наши знания о качествах народов могут служить одним из источников разъяснения форм быта и событий жизни исторических групп людей.

Качества какой бы то ни было группы людей — совокупность качеств отдельных людей, из которых она состоит. Потому знания о качествах этой группы только совокупность знаний об индивидуальных качествах людей, составляющих ее. Таким образом, наши знания о качествах народа не могут быть ничем иным, как соединением наших знаний о качествах отдельных людей, составляющих этот народ.

Мы часто можем приобретать довольно хорошее знакомство с качествами отдельных лиц, не зная ни быта их и никаких важных фактов их жизни. У каждого бывающего в многолюдных обществах есть знакомые, о которых он ничего не знает, кроме впечатлений, производимых на него и его родных или друзей встречами в обществе с ними; эти встречи могут быть совершенно ничтожны по своему содержанию, ограничиваться обменом приветствий и разговорами о предметах, посторонних разговаривающим, и, однакоже, давать нам достаточные материалы для довольно верных суждений об некоторых из умственных и нравственных качеств нашего знакомого. Например, если мы разговаривали с ним о газетных известиях или городских анекдотах, то очень может быть, что мы хорошо узнали его мнение о всяческих общественных и нравственных вопросах; а по его мнениям мы можем разгадывать его нравственные качества.

Когда мы таким образом ознакомились с нравственными качествами человека, о котором не знаем ничего, кроме наружности, одежды и этих его качеств, мы можем делать выводы о том, какой образ жизни ведет он; и если услышим о каком-нибудь важном его поступке или событии его жизни, можем в некоторых случаях удовлетворительно объяснять этот факт нравственными качествами его. Предположим, например, что по его разговорам мы убедились, что он рассудителен и одарен твердой волей. Мы можем вывести из этого догадку, что он устроил свой быт по возможности хорошо, что, например, он каждый день имеет пищу, качество которой соответствует его денежным средствам, а не тратит на один обед столько денег, что после того несколько дней голодает. Предположим, мы слышали, что он подвергся какой-нибудь опасности, но вышел из нее цел; мы имеем право сделать догадку, что он держал себя в этой опасности рассудительно и мужественно. Будут ли такие догадки достоверными знаниями? Разумеется, нет; но пока не получим сведений, которыми опровергались бы они, мы имеем разумное право считать их правдоподобными, а в некоторых случаях даже очень вероятными.

Итак, относительно отдельных лиц часто мы можем иметь гораздо больше знаний о их качествах, чем о их быте и важных фактах их жизни. В этих случаях наши знания о их качествах могут оказывать нам пользу для разъяснения немногих и неудовлетворительных сведений о их образе жизни и о крупных событиях ее.

Таковы ли отношения между нашими сведениями о качествах народов и сведениями о формах их быта, о крупных фактах их истории? Обыкновенно отношение между этими двумя разрядами сведений о народах совершенно обратное: формы их быта и крупные факты их истории известны нам гораздо больше и точнее, чем их качества, и наши понятия о их качествах обыкновенно

лишь выводы из наших сведений о их быте и судьбе. Возьмем для примера наше знание об одном из качеств древнего греческого народа, о том, трусливый или храбрый народ были греки.

Мы все говорим: греки были народ храбрый. Спросим себя: почему знаем это? Нам припоминаются Марафон, Саламин, Платея, множество других сражений, в которых греки побеждали врагов более многочисленных, чем они. Правда мы знаем, что они превосходили этих врагов дисциплиной и были лучше вооружены; но никакое вооружение не даст победы малочисленному войску над многочисленным врагом, если оно не состоит из людей храбрых; а дисциплина может быть сохранена во время сражения только храбрыми людьми. То же самое относительно всех других оговорок о преимуществах греческих войск помимо храбрости. Сделав наибольшие допускаемые рассудком уступки по этим оговоркам, мы все-таки останемся в необходимости признавать победы греков свидетельствующими о храбрости их.

Что же такое наше знание об этом качестве греков? Оно вывод из наших сведений о их битвах. Подобно этому и вообще не события греческой истории разъясняются нашими знаниями о качествах греков, а, наоборот, качества греков известны нам по фактам их жизни. Храбрость их мы знаем по фактам их военной деятельности; другие их качества — по результатам их других деятельностей, например, умственные качества греков известны нам по произведениям их искусств, по их литературе.

Таким образом, все наши знания об умственных и нравственных качествах прежних народов и прежних поколений нынешних народов — не прямые знания, а выводы из наших знаний о крупных фактах их истории, о формах их быта, о произведениях физической, умственной и нравственной деятельности их.

Могут ли эти производные знания быть употребляемы для разъяснения сведений о фактах того разряда, который другими своими фактами дает основу для них? Без сомнения, могут. Предположим, например, что у греческих историков находится известие такого рода: когда греческое войско приблизилось к реке, персидское, стоявшее на другом берегу ее, ушло, не защищая перехода. Предположим, что этим и ограничиваются все наши сведения о деле, что мы не имеем никаких известий о числе греческого и персидского войск и не знаем, почему персидское войско ушло, не пытаясь остановить неприятеля. На основании нашего знания, что греки были храбры и персы признавали их превосходство в этом качестве если не над малочисленным отборным корпусом воинов собственно персидской национальности, то над массой своих разноплеменных милиций, мы можем с некоторой степенью вероятности объяснить отступление персидского войска боязнью его начальников, что милиционеры, составлявшие, по всей вероятности, массу его, не выдержат боя с греками. Но мы не должны забывать, что это будет лишь догадка. Персидские

военачальники могли иметь совершенно иные мотивы отступления. Быть может, их войско, стоявшее на реке, было малочисленнее греческого; в таком случае мотивом отступления было не мнение о превосходстве греков по храбрости, а число их; или, быть может, отступление было военной хитростью, персы хотели заманить греков в такую местность, где удобно будет истребить всех их; а быть может, персидские военачальники ушли потому, что получили приказание спешить на защиту какой-нибудь другой области от другого врага; — мало ли какие мотивы могли быть у них помимо их мнения о храбрости греков. А впрочем, наша догадка правдоподобна, и нельзя осудить нас за то, что мы остановились на ней при недостатке данных для достоверного объяснения факта.

Но случаи, подобные предположенному нами, встречаются редко и, вообще говоря, маловажны. Обыкновенно, мы или имеем такие рассказы о фактах, что ход событий достаточно объясняется нашими достоверными знаниями об общих качествах человеческой природы и нашими сведениями о состоянии народа в данное время и подробностях дела, или наши сведения об особенных качествах народа так скудны и шатки, что ставить их объяснением фактов значит превращать историю в сказку, сочиняемую нами по нашему произволу.

Наши знания об умственных и нравственных качествах народов прошлых времен — знания не прямые, а производные из знаний о фактах их жизни; потому ясно, что они гораздо скуднее, гораздо менее точны и достоверны, чем знания о фактах, служащие основанием для вывода их. Относительно прежних народов и прежних поколений нынешних народов это не может быть изменено. Нам нельзя знать умственные и нравственные качества их иначе, как по фактам их исторической деятельности.

Но не можем ли мы приобрести об умственных и нравственных качествах современных нам народов прямые сведения такие обширные и точные, чтоб они служили прочным основанием для разъяснения исторических фактов?

Чтоб увидеть, удобоисполним ли такой труд, попробуем составить список тех людей, которые хорошо знакомы нам; и делать отметки о их качествах. Пусть в наш список будет внесено 100 человек. Скоро мы кончим работу, если захотим вести ее с точностью, удовлетворительной для ученых соображений?

Многие качества человека могут быть узнаваемы очень легко; таковы, например, его наружность и размер его физической силы. При обыкновенных условиях наших встреч с людьми достаточно взглянуть на человека, чтобы получить довольно точное представление о его наружности; а чтобы приобрести довольно точное понятие о размере его силы, достаточно увидеть его берущим в руки тяжелую вещь. Но и чисто физические качества не все можно узнавать легко. Например, есть болезни, влияние которых

остаётся незаметно до очень высокой степени их развития. Человек может быть близок к смерти по действию такой болезни, а казаться здоровым. Припомним для примера некоторые виды тифа и оспу. Человек уже заразился, а продолжает быть по виду совершенно здоровым. Принадлежит ли физическое здоровье к качествам человека или нет? Должно ли оно входить в понятие о характере человека? — На первый вопрос, вероятно, все скажут да; на второй множество ученых, любящих объяснять историю народов качествами их, отвечают нет. Обыкновенно, однакоже, они говорят о темпераменте народов: «этот народ имеет веселый характер, а этот угрюм по характеру». Темперамент сильно видоизменяется от перемен в состоянии здоровья. Больной человек вообще имеет менее веселое настроение духа, чем здоровый. Легкое хроническое расстройство здоровья от неудовлетворительных условий житейской обстановки не называется болезнью, но имеет значительное влияние на настроение духа.

Оставим разбор вопросов о физических качествах. Должно ли причислять к умственным качествам человека его знания, к нравственным качествам, — должно ли причислять его привычки? Если отвечать нет, то у нас не останется никакой возможности сделать характеристику человека в умственном и нравственном отношении, а если вводить в понятие о характеристике человека его знания и привычки, то очень редко найдется человек, о котором можно было бы сказать, что, например, в 40 лет он сохранил тот характер, какой имел в 20.

Как бы ни был краток наш список умственных и нравственных качеств, в числе их найдутся принадлежащие к разряду качеств, трудно узнаваемых. Например, вероятно, мы не забыли внести в него рассудительность, твердость воли, честность. Если внесено хоть одно из этих качеств, нам во многих случаях будет мудро решать, какую отметку об этом качестве ставить против имени нашего знакомого. Можно прожить годы с человеком и не узнать достоверным образом, рассудителен он или нет, сильна или слаба его воля и тверда ли его честность; и сам он может дожить до 30, до 50 лет, не зная, на какие поступки высокого благородства или низкой пошлости, отваги или трусости способен он. Кому из нас не случалось часто слышать от своих близких знакомых: «удивляюсь, как мог я это сделать», и вместе с ними дивиться их поступкам, совершенно противоречащим нашему понятию о характере их. Человек дожил до 50 лет, не делая ничего безрассудного, попал в затруднение, какого не случалось ему испытывать, и потерял голову, действует безрассудно: мало ли случаев подобного рода? — Но не будем стесняться недостаточностью наших знаний о тех умственных или нравственных качествах наших знакомых, которые трудно узнавать; будем приписывать характеризваемым нами людям рассудительность, безрассудство, твердую волю или слабую волю без заботы о проверке, основательно ли наше мнение. С этой

заботой мы впутались бы в такой долгий и тяжелый труд, что, по всей вероятности, не довели бы его до конца. Без нее мы легко и быстро составим характеристики своих знакомых по нашему списку качеств. Разумеется, научная ценность такого списка будет очень мала. Верные знания будут перепутаны в нем с таким множеством ошибок, что лучше всего будет бросить его в печь. Но сделаем это через минуту по его окончании, а эту минуту употребим на то, чтобы посмотреть, какую степень разнообразия имеют характеры, начерченные нами. Мы увидим, что разнообразие их очень велико.

Впрочем, это, по всей вероятности, известно каждому из нас и без напрасной работы записывать, какое мнение мы имеем о характере наших знакомых. Если так, то нам нет и надобности делать ту пробу, о которой мы говорили. Изложим те выводы, какие дала б она, если бы была сделана.

В кругу знакомых каждого из нас нет двух людей, характеры которых не имели бы очень важных различий между собой. Комбинации качеств очень разнообразны; например, с рассудительностью иногда соединяется большой ум, иногда такой размер умственной силы, который лишь немногим отличается от тупоумия. Множество людей, называемых в умственном отношении совершенно бездарными, очень рассудительны. Вот мы имеем уже четыре разряда людей: даровитые и благоразумные; даровитые и нерассудительные; бездарные и благоразумные; бездарные и безрассудные. Прибавим оценку по какому-нибудь третьему качеству, например, по честности, каждый разряд распадется на два разряда. Какое число разрядов мы получим, если произведем оценку по девяти качествам? Если не все 1024 разряда, даваемые формулой комбинаций, то наверное сотни из этого числа типов попадают в действительности.

Та проба, которую предлагали мы сделать, дает результаты, лишенные научной серьезности, потому что довести ее до конца можно только под условием записывать наши мысли о качествах наших знакомых без заботы о проверке неосновательности наших мнений. Но сделана ли хотя бы такая же поверхностная попытка определить характеры людей, составляющих не круг наших личных знакомых, а целый народ? Кто когда пытался считать, какую пропорцию общего числа людей какого-нибудь народа составляют, например, люди рассудительные и какую — люди нерассудительные, какую — люди твердой воли, какую — люди слабой воли, и так далее, и какую пропорцию в общем числе составляют люди того или другого из умственных и нравственных типов, образуемых разными комбинациями качеств? — Ничего подобного не делалось относительно какого бы то ни было народа. И должно прибавить, что количество труда, нужное для хорошего прямого исследования нынешних умственных и нравственных качеств какого-нибудь из цивилизованных народов, далеко превышает своей громадностью размер сил ученого сословия этого народа.

Потому мы принуждены довольствоваться нашими субъективными, случайными и очень ограниченными наблюдениями характеров людей и выводами о нравственных качествах из наших знаний форм быта и крупных событий жизни народов. Сумма знаний, доставляемых этими источниками, скудна и страдает примесью шатких догадок; но хорошо было бы, если бы мы заботились пользоваться хотя этими неудовлетворительными материалами с внимательностью и осторожностью. Мы не делаем и этого. Ходячие понятия о характерах народов составлены небрежно или под преобладающим влиянием наших симпатий или антипатий. В пример небрежности приведем общепринятое определение национального характера древних греков. Каждому из нас врезалась в память следующая характеристика качеств древнего греческого народа:

«Национальными качествами греков были любовь к искусству, тонкое эстетическое чувство, предпочтение изящного роскошному, воздержность в наслаждениях, умеренность в питье вина и тем более в еде. Пирь греков были веселы, но чужды пьянства и обжорства».

Ограничимся этими чертами национального характера, приписываемого грекам.

Берем тот период жизни греческого народа, который составил славу греков. Он начинается около эпохи марафонского сражения и кончается около времени херонейской битвы<sup>11</sup>. В этот период важнейшими греческими государствами были спартанское, афинское, фиванское, сиракузское. Очень большую важность имели также коринфское и агригентское. Не должно забывать и того, что самой обширной областью коренной греческой страны была Фессалия.

По тем же самым историкам, которые определяют характер всего греческого народа перечисленными у нас чертами, спартанцы были народ, жертвовавший потребностям военной гимнастики и дисциплины всеми другими заботами или влечениями. С той поры, как начинаются точные известия о спартанцах, мы видим, что эти воины, принужденные жить у себя дома скудно и сурово, как в лагере, предаются оргиям, лишь вырвутся на свободу. Павзаний, победитель при Платее, первый спартанец, о жизни которого мы имеем точные сведения, уж был таков. Оставшись на воле в Византии, он стал жить, как персидский сатрап, и до того увлекся жаждой роскошного разврата, что хотел отдать Грецию под господство персидского царя для получения сатрапского владычества над ней в должности персидского наместника. Менее знамениты, но достаточно известны нам гармосты \* Лизандра<sup>12</sup>. Они держали себя тоже, как персидские сатрапы. Каких художников, поэтов или ученых произвела Спарта? — никаких; если бывали в Спарте хорошие музыканты, то они были приезжие.

\* Спартанские чиновники, начальствовавшие в зависимых от Спарты городах. — Ред.

Фиванцы были обжоры и пьяницы, по уверению всех историков, и были лишены живости ума. Пьяные обжоры, они погрязали в тупой умственной и нравственной апатии. Фессалийцы были грубые пьяницы и развратники, презиравшие всякую умственную деятельность.

Сиракузанцы и агригентцы не знали воздержанности ни в чем; мудрая греческая умеренность в наслаждениях была неведома им; потому они подверглись участи сибаритов, так говорят историки; коринфян они называют развратниками, подобными азиатцам.

К кому ж из греков применяется характеристика всего греческого народа? Только к афинянам. Да и то лишь к афинянам двух поколений, которые жили между марафонской битвой и началом пелопоннесской войны. В эту войну афиняне были уж испорченный народ, говорят нам историки, а до марафонской битвы они еще не проявляли тех качеств, какими прославились во времена Перикла<sup>13</sup>. Мы видим, что вместо характеристики греческого народа нам дается характеристика афинян во времена Перикла.

Характеристика греческого народа, повторяемая большинством историков, составлена небрежно. Но она хороша, по крайней мере, тем, что не внушена дурными тенденциями.

Даже и этого достоинства лишены ходячие характеристики тех народов, которые еще существуют. Мы приведем лишь одну из них.

Итальянцы, как известно всем цивилизованным народам, кроме самих итальянцев, трусливы, коварны; и если не употребляется о них выражение «подлый народ», то лишь по свойственной нашему деликатному времени не любви к слишком грубым эпитетам, а смысл ходячей за Альпами характеристики итальянского народа тот самый, который на бесцеремонном языке выражается словом «подлость».

Мы выбрали для примера ходячую характеристику итальянского народа потому, что при разборе ее порицание за недобросовестность падает не на один какой-нибудь народ, а ложится общей виной на три нации: испанскую, французскую и немецкую; да и англичане не участвовали в составлении этой характеристики только потому, что не случилось им предпринимать много экспедиций для покорения Италии. Их ученым досталась характеристика уж изготовленная; они приняли ее.

Каким образом составила эта характеристика итальянского народа? Главным источником ее была досада завоевателей на желание итальянцев освободиться от их владычества. В Италию ходили немцы, плавали испанцы, ходили туда французы; все они побеждали, покоряли Италию или часть ее; при первой возможности покоренные разрывали обещания, данные покорителям, и пытались свергнуть с себя их иго. Какой покоренный народ не поступал точно также? В политических делах тяжелые обещания сохраняются, лишь пока не представляется надежды избавиться от их исполнения. Это мы видим в истории всех европейских

народов или частей народов; примеров противного нет. Одно из двух: или историки каждого другого европейского народа должны называть свой народ коварным, или они не имеют права ругать итальянский народ за то, за что прославляют свой народ, — за любовь к независимости.

Но итальянцы не только коварны, они и трусы. Нам говорят: чем же, как не превосходством храбрости завоевателей, то есть недостатком мужества у итальянцев сравнительно с ними, объяснить завоевания иноземцев в Италии? — Будем припоминать обстоятельства, при которых итальянцы были побеждаемы, и увидим, что ход событий определялся такими отношениями сил, при которых итальянцы были бы побеждаемы, если бы и превосходили своих иноземных врагов мужеством. В X веке все земли, составлявшие империю Карла Великого, раздробились на мелкие государства; шел процесс раздробления и в Германии, но медленнее, чем во французской и в итальянской землях. Немецкий король еще сохранял довольно большую власть над областными государями, когда французский король стал уже бессилён за границами своего непосредственного областного владения; то же самое что во Франции, было и в Италии. В этом отношении нельзя сказать об итальянцах ничего дурного, чего не следовало бы с такой же силой применить к французам, а потом и к немцам. Напротив, были обстоятельства, делавшие утрату национальной силы более извинительной для итальянцев: южная часть их земли оставалась под византийской властью; их берега были ближе французских для нападения африканских мусульман.—Италия была, подобно Франции, раздроблена; но она была богаче Франции. Немецкие короли справедливо находили, что выгоднее грабить и поработать Италию, чем Францию, потому ходили в Италию. Могут ли быть обвиняемы в недостатке храбрости мелкие государства за то, что король большого государства побеждает их? Говорят: но итальянцы сами облегчали иноземцам завоевание своей земли междуусобиями. Что в этом особенного? У какого народа, раздробленного на разные государства, не было междуусобий? — Когда восточная часть Испании объединилась в сильное государство, а французская королевская династия объединила под непосредственной властью короля большую часть Франции и сделала Прованс владением родственников короля, то стали нападать на Италию арагонцы и французы. Таким образом, итальянцы должны были отбиваться от трех сильных народов. Свидетельствует ли против храбрости их то, что они были побеждаемы? Такое положение дел оставалось до недавнего времени. Если мы рассмотрим в подробности борьбы мелких итальянских государств против сильных иноземных войск, мы увидим множество примеров тому, что итальянцы сражались храбрее своих завоевателей.

Историки, называющие итальянцев трусами, вообще держатся той теории, что качества народа составляют неизменный потом-

ственный характер его, наследуемый потомками от предков; о том, насколько сообразна с фактами эта теория, мы будем говорить после. Теперь заметим, что ученые, держащиеся ее, были бы, по видимому, обязаны считать итальянцев очень храбрым народом. Действительно, кто предки итальянцев? римляне; или, если прибавлять и второстепенные элементы, то, кроме римлян, также греки, лангобарды, норманны, арабы. Все эти народы считаются очень храбрыми. Каким же образом потомки храбрецов могут получать название трусов от людей, постоянно твердящих о неизменной наследственности характера? Это делается по очень легкому способу: теория наследственности проповедуется на тех страницах, на которых автору надобно твердить ее, а на промежуточных страницах, для которых она неудобна, место ее занимает какая-нибудь другая теория, более удобная для автора в эти часы его соображений, чаще всего — теория вырождения. Если историк, проповедующий теорию неизменности национальных качеств, пишет подробный рассказ о средневековых нашествиях на Италию, итальянцы на страницах его рассказа вырождаются и возрождаются много раз. Подходит большое иноземное войско, например, к Риму. В Риме перед тем временем было междоусобие; побежденная партия мешает ненавистным противникам в деле обороны иль предательски отворяет ворота города иноземцам. В этом нет ровно ничего особенного римского или итальянского; так делалось во всех городах во времена междоусобий. Но так ли поступили древние римляне, когда подошел к Риму Ганнибал? <sup>14</sup> Нет, не так. Они не пустили Ганнибала в Рим. А теперь, в такой-то год XI или XII столетия, римляне сдались немецкому королю. Очевидно, за рассказом об этом очень удобно может быть помещена тирада в патетическом тоне с восклицательными знаками: «Да, римляне теперь не были достойными потомками тех римлян, которые назначили торг на аренду земель, занятых под стенами Рима войском Ганнибала, и давали за участки этих земель такую же высокую арендную плату, как в мирное время, непоколебимо убежденные, что скоро оттеснят грозного врага! Теперь в Риме уже не было истинных римлян! Жалкие люди, называвшие себя этим славным именем, были...»; идут всякие ругательные эпитеты, какие только позволяет автору употребить его благовоспитанность. — Немецкий король вошел в Рим, папа коронует его. На коронационном празднике немецкое войско разбуянилось, жители Рима, выведенные из терпения, забыли, что шансы удачи для них малы, схватились за оружие; начался бой против немцев. Исход его, разумеется, зависел от того, успели ль к этому часу дня перепиться почти все немцы, или большинство их, хотя и пьяное, еще сохранило силу крепко держаться на ногах и рассудок смыкаться в боевой порядок. Если сохранило, то войско, хорошо дисциплинированное и превосходно вооруженное, одерживало победу над нестройными толпами людей, между которыми было мало опытных солдат. А если

немцы были пьяны до неспособности сражаться, то народ выгонял их из Рима. В таком случае историк размышляет, вставить или не вставить в рассказ тираду о том, что римляне показали себя достойными потомками славных предков. Если он находит, что тирада о их трусости не отделена от страницы, которую пишет он, количеством страниц, достаточным для возрождения римлян, они останутся на этот раз невозродившимися. Но через пять или семь лет немецкий король — теперь уже римский император — снова идет к Риму. На этот раз у римлян не было междоусобия или победившая партия успела установить крепкую власть; побежденные в чувстве своего бессилия помирились с победителями; измены нет, правительство сделало большие запасы провианта; город выдерживает продолжительную осаду; немцы разбиты удачной вылазкой или большинство их погибло от битв и болезней; они отступают, римляне преследуют их. Тут историк чувствует сильное желание возродить римлян и не находит никаких препятствий к этому, потому что последняя тирада о их трусости помещена не ближе, как страниц за десять перед той, которую пишет он теперь; римляне возрождаются под его пером. Если вы одарены человеколюбивым образом мыслей, не спешите радоваться: через достаточное число страниц они снова вырождаются; но знайте вперед, что вам не будет тогда надобно предаваться большому огорчению: они через несколько страниц возродятся в двадцатый или в двадцать первый раз.

Много геройских подвигов совершали итальянцы в долгие века своей раздробленности. Но с самого завоевания лангобардского королевства Карлом Великим до очень недавнего времени они не могли отбиться от многочисленных, могущественных врагов: каждый сосед, когда мог собрать большое войско, шел или плыл грабить богатую и раздробленную Италию; если итальянцы успевали отразить его, он, оправившись от неудачи, возобновлял нападение, а если он долго оставался ослабевшим, то вместо него шел грабить Италию другой сосед; потому при множестве удачных сражений итальянцы никогда не имели времени отдохнуть, и победы их оставались напрасны: отбившись от немцев, они подвергались нападениям испанцев или французов; даже венгры много раз ходили грабить Италию. Отразив одно нападение, изнуренные итальянцы делались жертвами если не второго, то третьего нападения и снова оказывались трусами, по мнению победителей, повторяемому до сих пор большинством историков других наций. Историки вообще расположены превозносить покорителей и ругаться над покоренными. Это не их профессиональная слабость, а только результат зависимости их суждений от общественного мнения наций, к которым принадлежат они.

Теперь можно полагать, что Италия сохранит свою независимость. Те народы, которые стремились грабить и поработать ее, начинают, кажется, привыкать к мысли, что итальянский народ не

поддастся иноземному владычеству без упорного сопротивления, что желание поработить его должно быть отброшено как неудобноисполнимое. Когда они привыкнут думать так, их историки будут справедливее судить о прошлом итальянского народа, будут признавать, что хотя раздробленность и отнимала у него силу успешно бороться против иноземных нашествий, но разрозненные и потому слабые части его выказывали в первой борьбе не меньше мужества, чем их поработители.

Тогда исчезнет одна из тех пошлых выдумок, на которых держится теория вырождения народов во времена упадка их военного могущества.

Итальянцы — потомки того народа, который покорил и цивилизовал Пиренейский полуостров, Галлию, Англию, и часть Германии, покорил все земли кругом Средиземного моря и много земель, далеких от него. Римское государство стало ослабевать; восточная половина, в которой преобладала греческая цивилизация, сделалась особым государством; западная половина, оставшаяся под властью римлян, продолжала ослабевать и вскоре была ограблена и поработана варварами. Из этого выводят, что римляне выродились. Дело объясняется фактами, не оставляющими места для этого приговора. С какого времени началось мнимое вырождение римлян? Обыкновенно считают первым важным проявлением его поражения Вара в Тевтобургском лесу<sup>15</sup>. Но более чем за сто лет до того кимбры и тевтоны истребили несколько римских войск, не менее многочисленных, чем войско Вара, и ворвались в Италию. За сто лет раньше того был факт еще более характеристичный: Ганнибал вошел в Италию, нанес несколько поражений римским войскам, превосходившим численностью его войско, тринадцать лет держался в Италии и покинул ее, лишь повинувшись приказанию правительства своей родины. Не с этого ли времени следует считать римлян выродившимися? — Есть историки, у которых мелькает в мыслях такое предположение. С той точки зрения, на которой стоят ценители нравственных качеств народа по успешности битв, оно справедливо. Но война, долго шедшая постыдно для римлян, кончилась победой их; и после того они сделали громадные завоевания. Это мешает признать их выродившимися в эпоху нашествия Ганнибала. Напрасное затруднение: скажем, что они выродились перед второй пунической войной и возродились во время ее; этим будет объяснено все: и позор поражений на Требии, у Тразименского озера, при Каннах<sup>16</sup>, и еще постыднейшая трусость римлян, допускавшая ослабшего Ганнибала оставаться в Италии целые тринадцать лет после битвы при Каннах, и победа римлян над ним и последующие их завоевания. Сделав огромные завоевания, римляне стали ослабевать и были, наконец, покорены варварами. Из этого выводится, что они выродились. Но у тех же самых историков рассказываются факты, достаточно объясняющие разруше-

ние римской империи и без этого фантастического предположения. Припомним лишь одну ту сторону хода перемен в обстоятельствах, которая преобразовала состав римского войска, и падение римской империи уже будет понятно без помощи пустых выдумок. Когда римляне, покорив соседние итальянские земли, стали ходить за Альпы и отправлять войска за море, перестало быть возможным для их воинов прежнее соединение военного ремесла с домашним бытом. Народ разделился на два класса: большинство граждан покинуло военную службу по несовместности ее с сохранением домашнего хозяйства, меньшинство бросило домашний быт, стало профессиональным военным сословием, оторвавшись от общественных связей; римские солдаты сделались похожими по своим чувствам на средневековых наемников; им было все равно, с кем сражаться, лишь бы получать жалованье и обогащаться добычей; римские полководцы стали похожи на итальянских кондотьеров \*. Таков был Марий; много раньше того уже занял подобное положение Сципион Африканский <sup>17</sup>, победитель Ганнибала: масса того войска, с которым он поплыл в Африку, составила из людей, шедших служить не сенату или народному собранию, а лично полководцу, обещавшему добычу и дававшему жалованье на первое время из своих собственных денег. Мужественно ли или нет оставалось большинство римлян, отвыкшее от военного дела, все равно: оно не могло противиться своим войскам. Это было положение, подобное тому, какое существовало во всей Западной Европе с конца средних веков до недавнего времени. Французы или немцы, испанцы или англичане XVI века и следующих двух столетий были одинаково неспособны сопротивляться своим войскам. Скажем ли мы, что все эти народы были тогда трусливы? Они просто не знали военного дела. Припомним историю Англии во время войн Алой и Белой роз <sup>18</sup>; один из соперников собирает воинов по ремеслу, охраняющих уэльзскую границу, другой — воинов по ремеслу, охраняющих шотландскую границу; они идут один на другого; кто одержал победу, входит в Лондон и становится владыкой Англии. Нечто подобное этому представляют войны Суллы <sup>19</sup> с Марием, Цезаря — с Помпеем. В Риме возникает, наконец, наследственность сана верховного полководца в семействе Юлия Цезаря; все полководцы повинуются этому главнокомандующему войск римского государства. То же самое начинается и в Англии со времени, как овладел государством Генрих Тюдор. В XVII столетии масса немецкого народа — беззащитная жертва армий Тилли, Валенштейна, Бернгарда Саксонского <sup>20</sup>. От Бернгарда зависит основать себе государство в юго-западной Германии или отдать свои завоевания королю французскому. Франкония и Швабия принадлежат ему, как Италия Марию в отсутствие Суллы. Западная Европа выдержала это положение и мало-по-

---

\* Наемников. — *Ред.*

малу вышла из него к началу нынешнего века, благодаря тому, что по границам Испании, Франции, Германии не было варваров, имевших главной своей мыслью грабить соседние цивилизованные земли и научившихся военному искусству на службе у народов этих земель. «Но существенный признак вырождения римлян в III и IV столетиях нашей эры состоит именно в том, что они брали массы иноземцев на свою службу», говорят нам. А что такое делали французы с конца XV до начала XVIII столетия? Держало тогда или не держало французское правительство на своей службе многочисленный корпус швейцарских наемников? И сколько иноземцев было в войсках Фридриха II? — Столько, сколько мог он набрать; чем больше, тем приятнее было ему.

С той поры, как историки считают надобным изучать политическую экономию и толковать о разделении труда, они в книгах о последних временах римской республики и о римской империи сами разъясняют, какими экономическими силами была произведена замена войска, состоящего из граждан домохозяев, войском солдат по ремеслу, и потом — замена итальянцев на военной службе уроженцами областей менее цивилизованных и иноземными варварами. Потому давно пора было бы бросить фантазию о вырождении римлян, следовало бы говорить лишь о том, что масса итальянского населения перестала образовать главную массу войска, непрерывно ведущего войны на отдаленных границах и живущего там в укрепленных лагерях. Таким образом, падение римской империи, завоевание Италии варварами достаточно объясняется уж одной той переменной, которую произвели в составе войска громадные завоевания римлян. Но вместе с военной переменой действовали в том же разрушительном направлении другие перемены, произведенные завоеваниями; из них особенно важна была перемена в политическом устройстве государства; она была важнее военной. Соединяя действия этих перемен, мы найдем совершенно излишней выдумкой фантазию о вырождении римского народа.

Отложим спор против фантастических мнений, перейдем к изложению тех понятий о национальном характере, которые соответствуют нынешнему состоянию знаний о жизни народов. Для упрощения дела будем говорить только о тех народах, которые принадлежат к романскому и германскому отделам арийского семейства. Едва ли найдется теперь историк, который не признавал бы, что все отделы арийского семейства имели первоначально одинаковые умственные и нравственные качества. Тем меньше возражений со стороны людей, знакомых с исследованиями о первобытных временах жизни арийцев, может встретить мысль, что первоначально не было никакой разницы в умственных и нравственных качествах между людьми соседних двух отделов арийского семейства, населяющих теперь Западную Европу, большую часть Америки, некоторые части Австралии и южной Африки. Кто

будет спорить против этого мнения, покажет только свое желание отрицать результаты филологических и археологических исследований.

Итак, предки романских и германских народов имели одинаковые умственные и нравственные качества. Теперь эти народы во многом отличаются один от другого по своим учреждениям и обычаям. Как произошла разница между ними? Есть мнение, приписывающее ее влиянию примеси людей не-арийского происхождения. Говорят, например, что иберийцы (предки басков), народ не-арийского семейства, составили очень значительную долю населения, говорившего римским (или романским) языком в вестготском государстве; говорят, что осталась в нынешних испанцах и португальцах значительная примесь арабской и берберской крови. Она гораздо менее велика, чем полагают ученые, говорящие о значительности ее. Но отложим спор. Пусть влияние иноплеменных элементов на формирование нынешних испанской и португальской национальностей было велико. Но бесспорно то, что во французском народе очень мало примеси крови каких-нибудь людей, кроме кельтов, римлян и германцев. В западной Германии почти все люди потомки германцев. В Англии и Шотландии почти все люди потомки кельтов, итальянцев и германцев или скандинавов. Кельты теперь признаны имевшими национальность, еще более близкую к латинской, чем первоначальная германская. Таким образом, основные элементы французского, английского и западногерманского населения должны быть признаны тождественными (по тождеству первобытных италийцев и германцев). Что же мы видим теперь? Не будем говорить о разнице между англичанами, французами и западными немцами, обратим внимание на каждый из этих народов отдельно. Берем Францию. Французский народ состоит из нескольких племенных отделов. Когда мы сравниваем общеупотребительные характеристики их, то, кроме принадлежности к одной филологической народности, мы не найдем ни одной черты, которая была бы общей для всех их. По ходячим характеристикам нормандец человек, более различный своими умственными и нравственными качествами от гасконца, чем от англичанина. — Англия в четыре раза меньше Франции, но тоже делится на несколько областей, в каждой из которых, если судить по характеристикам, даваемым этнографами, живет племя, вовсе не похожее своими умственными и нравственными качествами на другие отделы английского народа. Приведем один пример. По общему мнению английских и шотландских этнографов, население южной Шотландии очень резко отличается от массы англичан своими нравственными качествами. Эти шотландцы далеко превосходят англичан, по английскому мнению, хитростью и жадностью (а по своему выражению, рассудительностью). Но жители северной части Англии говорят тем же наречием, имеют те же привычки, как эти шотландцы, и не отличаются от них ничем,

кроме того, что называют себя англичанами, а не шотландцами. — Нечего говорить о том, что швабы по этнографическим характеристикам нимало не похожи на вестфальцев; этого достаточно относительно западной Германии, в населении которой нет никакой иноплеменной примеси.

Правда, ходячие характеристики французского, английского и немецкого народов фантастичны, так что французы дивятся и, смотря по настроению духа, хохочут или сердятся, читая нелепости, пользующиеся у иноземцев репутацией характеристики французского народа, и точно такие впечатления производит на немцев ходячая у иноземцев характеристика немецкой нации, на англичан — континентальная характеристика английской нации; но некоторые различия в привычках этих народов действительно существуют. Нелепы и те ходячие характеристики, по которым каждый отдел населения Франции, Англии, западной Германии оказывается вовсе не похож на другие племена своей нации; но действительно есть и областные различия привычек. Каким же образом возникли эти областные и национальные различия между людьми, происшедшими от предков, имевших одинаковые качества и привычки, от людей одного отдела, одного лингвистического семейства?

Народ — группа людей, качества народа — сумма индивидуальных качеств людей, составляющих эту группу; потому качества народа изменяются переменой качеств отдельных людей, и причины перемен одни и те же в обоих случаях. Каким образом, например, народ, говоривший одним языком, начинает говорить другим? Отдельные лица находят надобным выучиваться чужому языку; если та же надобность одинакова для всех взрослых семейств, их дети уже в своем семействе привыкают говорить на языке, который прежде был чужим ему; когда эта перемена произойдет в большинстве семейств, прежний язык будет быстро забываться массой народа, новый — станет родным ей. Разница между переменой языка у отдельного человека и у народа состоит только в продолжительности времени, нужного для нее.

Точно то же происходит в деле приобретения или утраты всяких знаний и привычек. От перемены в знаниях и привычках изменяется так называемый характер людей.

По каким причинам человек приобретает какие-нибудь знания? — Отчасти по склонности всякого мыслящего существа изучать предметы и размышлять о них, отчасти по житейской надобности в тех или других знаниях. Любознательность, склонность к наблюдению и размышлению — природное качество не человека только, но всех существ, имеющих сознание. Едва ли найдется теперь натуралист, который не признавал бы, что все существа, имеющие нервную систему и глаза, — существа мыслящие, что они изучают обстановку своей жизни, заботятся улучшить ее. Поэтому теперь должно прямо называть не заслуживающим внимания

тот предрассудок, по которому ученые в старину приписывали любознательность только некоторым народам, а у других отрицали ее. Никогда не было и не может быть ни одного здорового человека, который не имел бы некоторой любознательности и некоторого желания улучшить свою жизнь.

Итак, влечение к приобретению знаний и склонность к заботе об улучшении своей жизни — врожденные качества человека, подобно деятельности желудка. Но существование деятельности желудка и потребность в пище могут оставаться плохо удовлетворенными по неблагоприятности внешних обстоятельств, а в некоторых случаях аппетит вовсе пропадает. Когда внешние обстоятельства не благоприятны приобретению знаний и успеху забот об улучшении жизни, умственная деятельность будет идти слабее, чем при благоприятных обстоятельствах. В некоторых случаях она может замирать, как могут замирать другие влечения человеческой природы, без которых деятельность легких, желудка и другие так называемые функции растительной жизни человека продолжают не ослабевая. От слишком продолжительного голода человек умирает, от замирания любознательности или эстетического чувства он не умирает, а только становится отупевшим в этих отношениях. Что может происходить с отдельным человеком, то может происходить и с огромным большинством народа, если оно подвергается тем же давлениям, и с целым народом, если подвергаются им все люди, составляющие его. При благоприятных обстоятельствах врожденная склонность человека к приобретению сведений и к улучшению своей жизни развивается; то же самое несомненно и относительно народа, потому что все перемены в его физическом ли, умственном ли состоянии — суммы перемен, происходящих в состоянии отдельных людей.

В старину были споры о том, хороши или дурны врожденные нравственные склонности человека. Теперь следует назвать обветшалыми сомнения в том, что они хороши. Это опять частный случай гораздо более широкого закона жизни органических существ, одаренных сознанием. Есть такие роды или виды живых существ, которые предпочитают одинокую жизнь, чуждаются общества подобных себе. Между млекопитающими таков, как говорят, крот. Но громадное большинство видов млекопитающих находят приятным быть в дружеских отношениях с подобными себе. Это достоверно обо всех тех отделах млекопитающих, которые по своей организации менее далеки от человека, чем крот. Пока считалось возможным называть все другие живые существа, кроме человека, лишенными сознания, можно было ставить вопрос, — добр или зол он по природе. Теперь этот вопрос лишился смысла. Человек имеет природную склонность к доброжелательству относительно существ своего вида, как имеют ее все те живые существа, которые предпочитают одиночеству жизнь в обществе подобных себе.

Но и склонность к доброжелательству может ослабевать под влиянием неблагоприятных для нее обстоятельств. Существа самые кроткие ссорятся между собою, когда обстоятельства, возбуждающие к вражде, сильнее склонности к доброжелательству. Дерутся между собою и лани, и голуби. Едва ли были делаемы точные наблюдения для разъяснения вопроса, до какой степени может испортиться характер их под влиянием обстоятельств, развивающих злые привычки. Но о тех млекопитающих, которые давно сделались предметом постоянных внимательных наблюдений, как, например, лошади, всем известно, что при раздражающем ходе жизни характер их может сильно портиться.

Наоборот, мы знаем, что млекопитающие, по своей природе жестокие к существам других видов и расположенные драться между собою при самых маловажных столкновениях интересов, приобретают довольно кроткий характер, когда человек заботится о развитии доброжелательности в них. При соображениях об этом обыкновенно припоминается собака. Но еще замечательнее развитие кротости в кошке. По природным склонностям, кошка существо гораздо более жестокое, чем волк. Однакоже все мы знаем, что кошка легко привыкает держать себя мирно относительно домашней птицы. Есть множество рассказов о кошках, привыкших кротко выносить всякие обиды от маленьких детей, играющих с ними.

Одно из самых важных различий между млекопитающими по нравственным качествам обуславливается устройством их желудка, по которому некоторые семейства питаются исключительно растительной пищей, другие — исключительно животной. Все мы знаем, что собака, родственница волка и шакала, питающихся исключительно пожиранием животных, легко привыкает есть хлеб и все другие сорта той растительной пищи, которую едят люди. Она не может питаться только сеном, которым не способен питаться и человек. Едва ли были делаемы точные наблюдения о том, могут ли собаки совершенно отвыкнуть от мясной пищи. Но всем известно, что собаки некоторых охотничьих пород приучаются с омерзением отвращаться от еды тех животных, для охоты за которыми употребляются. Такая собака, мучимая голодом, не может есть так называемой дичи. Наоборот, лошадь и корова или волк легко привыкают есть мясной суп. Были наблюдаемы случаи, что серны или сайги, живущие в плену у человека, ели сало. Когда мы припоминаем такие резкие перемены качеств, непосредственно обусловленных устройством желудка, то должны утратить для нас всякий смысл сомнения в том, способны ли очень сильно видоизменяться под влиянием обстоятельств качества, менее устойчивые, чем особенности, зависящие от устройства желудка.

Умственные и нравственные качества менее устойчивы, чем физические; потому должно думать, что и наследственность их менее устойчива. Размер наследственности их еще не определен науч-

ными исследованиями с такой точностью, какая нужна для решения вопросов об умственных и нравственных сходствах и различиях между людьми одного физического типа. Мы должны составлять себе понятие об этом лишь по случайным, отрывочным сведениям, какие приобретаем житейскими наблюдениями над сходством или несходством детей с родителями, братьев или сестер между собой.

Чтобы определить, каково в сущности мнение, приобретенное рассудительными людьми по житейским наблюдениям этих сходств и различий, употребим способ решения точно определенных гипотез, употребляемый натуралистами для разъяснения понятий о вопросах, которые трудно решить анализом конкретных фактов.

Предложим себе следующую задачу. В глухом селении одной из земель Западной Европы живут жена и муж, люди одного физического типа, одинаковых характеров. Все мужчины в их селении землевладельцы, а женщины помогают мужчинам в сельских работах. Эти муж и жена ведут такой же образ жизни; они трудолюбивы, честны, добры. У них родился сын. Через год по его рождении они умирают. Ближайший родственник сироты — двоюродный брат его матери, человек женатый, но бездетный. О нем и о его жене нам известно только, что они люди честные, добрые, трудолюбивые и не бедные, что они живут в столице страны другого народа, что они родились и всю жизнь провели там, говорят на языке этой столицы, не знают никакого другого, и видывали нивы разве проездом по железной дороге. Больше ничего неизвестно нам о них. Мы не знаем, к какому сословию граждан столицы принадлежат они и какой образ жизни ведут; нам сказано только, что они честные. Будучи извещены о смерти своей родственницы и ее мужа и о том, что остается сиротка, они решают взять малютку на воспитание к себе и усыновляют его. Прошло 29 лет. Усыновленный сирота стал 30-летним мужчиной. Его приемные отец и мать еще живы; они любят его, как родного сына; он также любит их, как родных отца и мать. Подобно им, он трудолюбив. Со времени его усыновления, в жизни его не было никаких необыкновенных случаев. Больше ничего неизвестно нам о нем. Спрашивается, каковы, кроме трудолюбия, его привычки и качества и чем он занимается? На некоторые вопросы об этом можно дать ответы, имеющие очень большую степень вероятности. Так, например, очень вероятно, что этот мужчина стал человеком той национальности, к которой принадлежит масса жителей столицы. Этот ответ подсказан тем сведением, что усыновившее сироту семейство не знало языка его родины, говорило на языке столицы, в которой выросло. Очень вероятно также, что он горожанин, а не земледелец. Это мнение также основано на наших знаниях об усыновивших его родных. Земледелец ли он? Едва ли; зажиточные горожане в Западной Европе находят профессию землепашца невыгодной для себя и не готовят к ней своих млад-

ших. По всей вероятности, он горожанин. Какой городской профессией занимается он; ремесленник он или школьный учитель, или адвокат, или врач? Никакого сколько-нибудь рассудительного решения этого вопроса мы не можем сделать, потому что не знаем, какой городской профессией занимался приемный отец и каких мыслей об этой профессии держались он и его жена; находили ли они, что их приемному сыну лучше всего будет стать человеком этой же профессии, или предпочитали ей какую-нибудь другую.

Нам теперь легко узнать истинный характер наших мнений о том, влиянию ли происхождения или влиянию жизни мы приписываем преобладающую силу в деле образования нравственных качеств. Мы нашли вероятным, что сирота сделался честным человеком. Он рос в честном семействе; будучи огражден от нищеты благосостоянием и любовью своих приемных отца и матери, он без труда мог приобрести привычку гнушаться воровством и другими видами бесчестных поступков. Чтобы проверить, действительно ли влиянию жизни, а не влиянию происхождения мы приписываем развитие хороших качеств, переменим условия гипотезы, — предположим, что люди, усыновившие сироту, жили плутовскими проделками и считали глупостью быть честными относительно посторонних людей. Велика ли уверенность, что сирота, воспитанный ими, вырос честным человеком? Мы видим, что нравственные качества его родителей вовсе не принимаются нами в соображение, потому что он стал сиротой раньше, чем мог научиться от них чему-нибудь дурному или хорошему.

Перейдем к изложению тех понятий о развитии характера отдельных людей, которые соответствуют нынешнему состоянию наших теоретических знаний и выводам из житейских наблюдений. Для упрощения дела мы будем говорить исключительно о западноевропейском отделе арийского семейства. Когда люди передовых наций привыкнут справедливо судить друг о друге, они будут приготовлены справедливее нынешнего судить и о людях других лингвистических или расовых отделов.

Берем двухлетнего ребенка. Опаснейшее время физического развития уж перенесено им. Он остался здоровым, крепким. Устраним всякие предположения о каких-нибудь особенных бедствиях в следующие годы его физического развития и спросим себя, нужны ли какие-нибудь благоприятные условия жизни для того, чтоб он вырос здоровым. Мы знаем, что для этого нужны, между прочим, удовлетворительная пища и удовлетворительная обстановка домашней жизни. Из сотни здоровых двухлетних детей доживет 80 или 90 здоровыми до 20-летнего возраста, если эти условия существуют для них. А если их семейства обнищали около того времени, как они достигли двухлетнего возраста, и последующий рост их будет идти в сырых, душных помещениях, пища им будет дурна и недостаточна, то очень многие из них умрут, не достигнув совершеннолетия, а многие из уцелевших окажутся получив-

шими какие-нибудь болезни, порождаемые дурным питанием и сыростью жилищ.

Физические качества двухлетнего ребенка несравненно устойчивее тех нравственных качеств или, точнее сказать, еще не качеств, а только наклонностей к качествам, какие имеет он. У двухлетнего ребенка уж обозначились все те физические особенности, какие будет он иметь в годы совершеннолетия, если останется здоров. Но о даровитости двухлетнего ребенка мы не можем составить себе основательных понятий; и если называем детей этого возраста даровитыми или бездарными, то лишь фантазируем на основании наших симпатий или антипатий. Не только о двухлетних, даже о восьмилетних детях трудно судить, даровитыми или тупыми людьми станут они. А нравственные качества менее устойчивы, чем умственные способности.

Теперь доказано, что дитя чахоточных родителей рождается не имеющим чахотки; обыкновенно бывает только то, что чахоточные родители малокровны, имеют слабо развитую грудь и что эти качества организма наследуют их дети. Но если малокровный и слабогрудый малюток получит укрепляющее воспитание, то у него или уменьшится, или вовсе исчезнет расположение к болезням, производящим чахотку. Таким образом, дитя наследует от родителей только расположение сделаться чахоточным, а разовьется или уменьшится, или исчезнет оно, определяется его жизнью. Дети родителей, имеющих крепкое здоровье, рождаются вообще крепкими, но это наследство очень легко отнимается у них неблагоприятными условиями жизни.

Относительно нравственных качеств должно предполагать, что от родителей наследуются те склонности, которые прямо обусловлены так называемым темпераментом (в тех случаях, когда наследуется темперамент). Но и эта, вероятно, справедливая мысль требует оговорок для того, чтобы можно было ей оставаться справедливой, если она справедлива. Для простоты разделим все виды темперамента на два типа: сангвинический и флегматический. Предположим, что если отец и мать имеют одинаковый темперамент, то все дети имеют его. Из этого еще не следует ничего о наследовании хороших или дурных нравственных качеств. Темпераментом определяется только степень быстроты движений, и вероятно, перемен душевного настроения. Должно думать, что человек, имеющий быструю походку, расположен к более быстрой смене настроений, чем человек, движения которого медленны. Но этой разницей не определяется то, который из них более трудолюбив, и тем менее определяется степень честности или доброжелательности того или другого; не определяется даже и степень рассудительности. Торопливость или нерешительность — не качества темперамента, а результаты привычек или затруднительных обстоятельств. Суетливыми, опрометчивыми, безрассудными бывают и люди, имеющие тяжелую, медленную походку. Нерешительными

бывают и люди с быстрой походкой. Это знает всякий хороший наблюдатель людей. Но особенного внимания заслуживает то обстоятельство, что быстрота движений и речи, сильная жестикulyция и другие качества, считающиеся признаками природного расположения, так называемого сангвинического темперамента, а противоположные качества, считающиеся признаками флегматического темперамента, бывают у целых сословий и у целых народов результатом только обычая. Те люди, которым их старшие родные и знакомые внушают привычку держать себя с достоинством, почти все с очень ранних лет привыкают к плавности движений и речи; наоборот, в тех сословиях, где считается надобной резкость движений и речи, почти все с молодости привыкают к сильной и быстрой жестикulyции, к пронзительному и быстрому тону речи. У тех народов, где общество делится на резко обособленные классы, эти кажущиеся признаки темпераментов оказываются на самом деле только сословными привычками.

Те умственные и нравственные качества, которые не находятся в такой близкой связи с физическим типом, как темперамент, менее устойчивы в индивидуальном человеке, чем темперамент. Из этого ясно, что сила передачи их по наследству менее велика, чем сила передачи темперамента.

Понятие о народном характере очень многосложно; в состав его входят все те различия народа от других народов, которые не входят в состав понятия о физическом типе. Всмотреваясь в это собрание множества представлений, можно разложить их на несколько разрядов, очень неодинаковых по степени своей устойчивости. К одному разряду относятся те умственные и нравственные качества, которые прямо обуславливаются различиями физических типов; к другому — принадлежат различия по языку; далее, особые разряды образуют различия по образу жизни, по обычаям, по степени образованности, по теоретическим убеждениям. Устойчивее всех те различия, которые прямо обусловлены различиями физических типов и называются темпераментами. Но если говорить о европейском отделе арийского семейства, то нельзя найти в нем ни одного большого народа, который состоял бы из людей одинакового темперамента. Притом, хотя физический тип отдельного человека остается неизменным во всю жизнь и обыкновенно передается от родителей детям, потому имеет прочную наследственную устойчивость, но умственные и нравственные качества, составляющие результаты его, видоизменяются обстоятельствами жизни до такой степени, что зависимость их от него сохраняет силу, только когда обстоятельства жизни действуют в том же направлении; а если ход жизни развивает другие качества, то темперамент поддается его влиянию, и та сторона действительного характера человека, которая подводится под название темперамента, оказывается совершенно неодинаковой с качествами, какие можно было бы предполагать в человеке по нашим понятиям об

умственных и нравственных результатах физического типа. Каждый из больших европейских народов составляют, как мы говорили, люди разных физических типов, и счета пропорциям этих типов не сделано. Потому теперь еще нет основательных понятий о том, какой темперамент принадлежит большинству людей того или другого из этих народов. Но, быть может, имеет справедливость какое-нибудь из ходячих мнений о решительном преобладании того или другого физического типа у народов сравнительно малочисленных, каковы, например, голландцы, датчане, норвежцы, предположим, что какая-нибудь характеристика физического типа которого-нибудь из этих народов действительно охватывает собою огромное большинство людей, составляющих его, и будем изучать характеры людей этого народа посредством личного наблюдения или, при невозможности провести много времени в той стране, по чуждым предвзятым мыслям рассказам о частной жизни людей этого народа, о том, как работают, разговаривают, веселятся они; мы увидим, что очень значительная часть людей этого народа имеет не те умственные и нравственные качества, какие соответствуют понятиям о темпераменте, производимом особенностью его физического типа. Предположим, например, что по своему физическому типу люди этого народа соответствуют представлению о флегматическом темпераменте; потому господствующими качествами их должны быть медленность движений и речи; в действительности мы увидим, что очень многие из них имеют противоположные качества, считающиеся принадлежностью сангвинического темперамента. Какова пропорция людей того и другого разряда, никто не считал ни в этом, ни в каком другом народе. Но всматриваясь, мы увидим, что медленность или быстрота движений и речи у людей этого народа находится в тесной связи с обычаями сословий или профессий, к которым принадлежат они, с их понятиями о своей личной, фамильной важности или низкости своего общественного, семейного, личного положения, с их довольством или недовольством ходом своей жизни, с состоянием их здоровья и вообще с обстоятельствами, имеющими влияние на душевное настроение. Каково бы ни было от природы телосложение человека, но из людей, у которых здоровье расстроено болезнями, угнетающими душу, лишь очень немногие сохраняют живость движений и речи; наоборот, при болезнях, действующих раздражающим образом, лишь очень немногие люди могут производить движения и вести разговор спокойно, плавно. Подобно тому действуют всякие другие обстоятельства, угнетающие или раздражающие, печальщие или веселящие человека. В тех местностях, где масса земледельцев живет сносно и не имеет ни больших запасов хлеба от прошлых лет, ни больших денег, — земледельческое население при обыкновенных урожаях каждый год переходит два состояния, сангвиническое и флегматическое. Перед жатвой оно начинает быть расположенным к веселью и, при всем утомле-

нии от полевых работ, держит себя в часы отдыха сангвинически. Это настроение усиливается до той поры, когда новый хлеб обмолочен и поступает в пищу; несколько времени длится веселье, движения быстры, разговоры бойки, шумны. Потом начинаются раздумья о том, достанет ли хлеба до осени; оказывается надобность стать экономнее в пище, веселье уменьшается, и через несколько времени люди становятся унылы. Это длится до той поры года, когда над мыслями об истощении запасов пищи берут верх мысли о близости новой жатвы. Природный темперамент вообще заслоняется влияниями жизни, так что различить его несравненно труднее, чем обыкновенно предполагают; внимательно разбирая факты, мы должны притти к мнению, что врожденные склонности к быстроте или медленности движений и речи слабы и гибки, что главное дело не в них, а в том влиянии, какое оказывают на народы, племя или сословие народа обстоятельства жизни.

О том, велика ли природная разница между народами по живости и силе умственных способностей, существуют очень неодинаковые мнения. Если речь идет о народах разных рас или лингвистических семейств, решение определяется нашими понятиями о расах и лингвистических семействах. Это вопросы, по которым люди, держащиеся одного мнения, не имеют права оставлять без внимательного разбора противоположные мнения. Но когда речь идет, как теперь у нас, только о передовых народах, о западно-европейском отделе арийского семейства, то следует назвать неприменимыми к вопросу никакие теории об умственных различиях между людьми по происхождению их предков. Пусть на южной и северо-восточной окраинах Западной Европы есть примесь не-арийской крови, например, в Сицилии и южной половине Пиренейского полуострова примесь арабской и берберской, а на севере Скандинавского полуострова примесь финской; но даже в Сицилии и в Андалузии примесь не-арийской крови невелика: это мы видим по сходству преобладающих там физических типов с типами древних и нынешних греков. Еще меньше примесь финской крови в северных частях населения Норвегии и Швеции. Таким образом, вся масса населения Западной Европы происходит от людей одного отдела арийского семейства и должна быть признана имеющей одинаковые наследственные умственные качества. Разность в них между разными народами Западной Европы предположение фантастическое, опровергнутое филологическими исследованиями; потому, если в настоящее время находятся какие-нибудь неодинаковости между западными народами в умственном отношении, они получены ими не от природы их племени, а исключительно от исторической жизни, и будут сохранены или не сохранены ими, смотря по тому, как будет идти она.

Но когда говорят о различии народов по умственным качествам, то обыкновенно судят не собственно о силе ума, а только о степени образованности народа; только поэтому и возможны те

определенные суждения, какие вошли в привычку. Рассмотреть, каковы умственные качества народа сами по себе, помимо того блеска или той тусклости, какая дается им высокой или низкой степенью образованности, дело очень трудное, при нынешнем состоянии науки не могущее приводить ни к каким достоверным заключениям даже в тех случаях, если сравниваются народы желтой расы с народами белой, и служащее лишь предлогом для самохвальства и для клеветы, когда речь идет о сравнении разных народов одного отдела одной лингвистической семьи. Продолжать старые рассуждения о врожденных различиях между народами Западной Европы по умственным качествам значит не понимать результатов, к которым уже довольно давно пришла лингвистика, доказавшая, что все они потомки одного и того же народа.

Различия по языку имеют громадную важность в практической жизни. Люди, говорящие одним языком, имеют склонность считать себя одним национальным целым; когда они привыкают составлять одно целое в государственном отношении, у них развивается национальный патриотизм и внушает им более или менее неприязненные чувства к людям, говорящим другими языками. В этом реальном отношении язык составляет едва ли не самую существенную черту различий между народами. Но очень часто придают разнице по языку теоретическое значение, воображают, будто особенностями грамматики можно определять особенности умственных качеств народа. Это пустая фантазия. Этимологические формы в отдельности от правил синтаксиса не имеют никакой важности; а правила синтаксиса во всех языках удовлетворительно определяют логические отношения между словами, при помощи ли или без помощи этимологических форм. Существенную разницу между языками составляет только богатство или бедность лексикона, а состав лексикона соответствует знаниям народа, так что свидетельствует лишь о его знаниях, о степени его образованности, о его житейских занятиях и образе жизни и отчасти о его сношениях с другими народами.

По образу жизни есть очень важные различия между людьми; но в Западной Европе все существенные различия этого рода не национальные, а сословные или профессиональные. Землепашец ведет не такую жизнь, как ремесленник, работающий в комнате. Но в Западной Европе нет ни одного народа, в котором не было бы земледельцев или ремесленников. Образ жизни знатного сословия не тот, какой ведут земледельцы или ремесленники; но опять у всех европейских народов есть знатное сословие; даже и у тех, у которых, как у норвежцев, исчезли или почти исчезли аристократические титулы, дело не в титулах, а в привычке занимать высокое общественное положение.

Привычки, имеющие важное реальное значение, различны у разных сословий или профессий по различию их образа жизни. Есть множество других привычек, имеющих не сословный, а на-

циональный характер. Но это — мелочи, составляющие лишь забаву или щегольство, к которым рассудительные люди равнодушны и которые сохраняются лишь потому, что эти люди оставляют их без внимания, как нечто индифферентное, пустое. Для археолога эти мелочи могут иметь очень важное значение, как для нумизмата \* старые монеты, находимые в земле. Но в серьезном ходе народной жизни их значение ничтожно.

Каждый из народов Западной Европы имеет особый язык и особый национальный патриотизм. Эти две особенности — единственные особенности, которыми весь он отличается от всех других народов Западной Европы. Но он имеет сословные и профессиональные отделы; каждый из этих отделов во всех отношениях умственной и нравственной жизни, кроме языка и национального чувства, имеет свои особые черты быта; ими он походит на существующие сословные отделы других западных народов; эти сословные или профессиональные особенности так важны, что каждый данный сословный или профессиональный отдел данного западноевропейского народа, помимо своего языка и патриотизма, менее похож умственно и нравственно на другие отделы своего народа, чем на соответствующие отделы других западноевропейских народов. По образу жизни и по понятиям земледельческий класс всей Западной Европы представляет как будто одно целое; то же должно сказать о ремесленниках, о сословии богатых простолюдинов, о знатном сословии. Португальский вельможа по образу жизни и по понятиям гораздо более похож на шведского вельможу, чем на земледельца своей нации; португальский земледелец более похож в этих отношениях на шотландского или норвежского земледельца, чем на лиссабонского богатого негоцианта. В международных делах нация, имеющая государственное единство или стремящаяся приобрести его, действительно составляет одно целое, по крайней мере при обыкновенных обстоятельствах. Но по внутренним делам она состоит из сословных или профессиональных отделов, отношения между которыми приблизительно таковы же, как между разными народами. В истории всех западноевропейских народов бывали случаи, когда и по международным делам нация распадалась на части, враждебные одна другой, и слабейшая из них призывала иноземцев на помощь себе против внутренних врагов или радостно встречала иноземцев, без ее призыва пришедших покорить ее родину. Быть может, ныне уменьшилась эта готовность слабейшей части нации соединяться с иноземцами для вооруженной борьбы против своих соплеменников. Решиться на измену родине, вероятно, никогда не было легко ни для какой части какого бы то ни было европейского народа. Но в старые времена внутренняя борьба сопровождалась такими свирепостями, что одолеваемая сторона действовала по внушению отчаяния; что-

\* Собиратель или знаток старинных монет. — Ред.

бы спастись от смерти, люди решаются на очень тяжелые для них самих поступки. Если справедливо мнение, что в наши времена уже стали невозможны у цивилизованных народов при сословной или политической борьбе свирепости, способные доводить побежденных внутренних противников до отчаяния, то не будет и случаев, чтобы какая-нибудь часть какой-нибудь цивилизованной нации соединялась с иностранцами против соотечественников.

Некоторым публицистам эта надежда кажется не лишеною основательности. Но бесспорно то, что до недавнего времени было не так. Потому, рассказывая жизнь народа, историк постоянно должен помнить, что народ — соединение разных сословий, связи между которыми в прежние времена не имели такой прочности, чтобы выдерживать порывы взаимного ожесточения.

Впрочем, теперь все историки понимают важность сословных ссор и если часто говорят о народе, как об одном целом, в рассказе о делах, по которым разные сословия не были единодушны, эта ошибка их происходит не от незнания, а только от временного забвения или от каких-нибудь других причин. Но понятия о характере сословий еще остаются у большинства образованных людей, потому и у большинства историков, в значительной степени ошибочными. Главных причин этого две: масса публики, потому и большинство ученых, не имеют близкого знакомства с действительными обычаями и понятиями классов, по своему общественному положению и образу жизни далеких от них, и притом судят о них под влиянием политических и сословных пристрастий. Возьмем для примера господствующее понятие о земледельческом сословии. Вообще предполагается, что нравы земледельцев чище, чем нравы ремесленников. В некоторых случаях это, по всей вероятности, бывает справедливо. Например, если большинство земледельцев живет в довольстве, а большинство ремесленников терпит нищету, то, разумеется, дурные качества, порождаемые бедностью, будут развиваться у ремесленников гораздо сильнее, чем у земледельцев. Ученые вообще живут в больших городах, потому часто видят неудобства жилищ ремесленников и другие материальные бедствия их. Как живут земледельцы, им известно гораздо меньше; и очень велики шансы того, что личные впечатления, случайно приобретаемые ими о быте земледельцев, будут неверны по отношению к большинству этого сословия. Другой источник ошибок — политическое пристрастие. Поселяне считаются консервативным сословием; потому ученые консервативного образа мыслей вообще превозносят рассудительность и чистоту нравов сельского сословия, ученые, желающие общественных перемен, думают и говорят о нем под влиянием политической вражды.

Кроме сословных и профессиональных делений, у каждого цивилизованного народа имеет очень большую важность деление по

степеням образованности. В этом отношении принято делить нацию на три главные класса, которые характеризуются названиями: люди необразованные, люди поверхностного образования и люди основательного образования. Мы можем, как нам угодно, судить о вреде или пользе просвещения, можем хвалить невежество или считать его вредным для людей; но все согласны в том, что огромное большинство людей, не получивших образования и не имевших возможности приобрести его собственными усилиями, очень много отличается — в дурную ли, в хорошую ли сторону, не о том теперь речь, а лишь о том, что очень много отличается своими понятиями от огромного большинства образованства людей. А понятия людей — одна из сил, управляющих жизнью их.

Сделаем выводы из этого обзора действительного положения наших сведений о национальном характере.

Мы имеем очень мало прямых и точных сведений об умственных и нравственных качествах даже тех современных народов, которые наиболее известны нам, и ходячие понятия о характерах их составлены не только по материалам недостаточным, но пристрастно и небрежно. Самый обыкновенный случай небрежности тот, что случайно приобретенные сведения о качествах какой-нибудь малочисленной группы людей ставятся характеристикой целой нации. Заменить небрежные и пристрастные характеристики народов верными — дело очень хлопотливое, и у большинства ученых нет серьезного желания, чтоб оно было исполнено, потому что обыкновенная цель употребления характеристик народа состоит вовсе не в том, чтобы говорить беспристрастно, а в том, чтобы высказывать такие суждения, какие или кажутся выгодными для нас, или льстят нашему самолюбию. Люди, желающие говорить беспристрастно о других народах, воздерживаются от этого способа суждений слишком произвольного, довольствуются сведениями, которые приобретаются гораздо легче и представляют более достоверности: они изучают формы быта, крупные события жизни народа и ограничиваются теми суждениями о качествах народов, какие без труда выводятся из этих достоверных и точно определенных фактов. Объем таких суждений гораздо менее широк, чем содержание ходячих характеристик; существенное различие его от них то, что при каждой черте ставится оговорка о том, к какой части народа и к какому времени относится суждение. Так это должно быть по серьезным понятиям о характере многочисленных групп людей.

Мы знаем не качества народов, а только состояния этих качеств в данное время. Состояния умственных и нравственных качеств сильно видоизменяются влиянием обстоятельств. При перемене обстоятельств происходит соответствующая перемена и в состоянии этих качеств.

О каждом из нынешних цивилизованных народов мы знаем, что первоначально формы его быта были не те, как теперь. Формы

быта имеют влияние на нравственные качества людей. С переменною форм быта эти качества изменяются. Уж по одному тому всякая характеристика цивилизованного народа, приписывающая ему какие-нибудь неизменные нравственные качества, должна быть признаваема ложной. Кроме египтян, обо всех других народах, достигавших цивилизованного состояния, мы имеем положительные сведения, относящиеся к временам очень грубого их невежества. Достаточно припомнить, что даже в «Илиаде» и «Одессее» греки еще не умеют читать и писать. Разбирая предания, сохранившиеся у греков под формами мифов, мы видим черты быта совершенно дикого. Многие ученые находят в этих рассказах даже воспоминания о людоедстве. Так ли это или нет, были ль людоедами люди, уже говорившие греческим языком, или выводы об этом ошибочны, но достоверно то, что греческому народу были некогда чужды всякие цивилизованные понятия или привычки. Может ли сохраниться одинаковость нравственных качеств между предками-дикарями и потомками, достигшими высокой цивилизации? Сохраниться могут разве физический тип и те черты темперамента, которые прямо обуславливаются ими; но и это может быть справедливым лишь по присоединении к термину «одинаковость» таких оговорок, которыми отнимается у него почти всякое значение. Например, цвет глаз остался прежний, но прежде выражение глаз было тупое, почти бессмысленное, а впоследствии оно сделалось соответствующим высокому умственному развитию; контуры профиля остались те же, но из грубых сделались миловидными; вспыльчивость осталась, но проявляется гораздо реже и формы ее проявления стали не те. Перемены обстоятельств, от которых видоизменялись формы быта, всегда ли одинаково касались всех сословий? Это могло бывать только в редких случаях. Видоизменяясь неодинаково, обычаи разных сословий становились менее сходными, чем были прежде. Народ приобретал знания, от этого изменялись его понятия; от перемены понятий изменялись нравы; этот ход перемен тоже был неодинаковым в разных сословиях, был неодинаковым и в разных частях страны, занятой народом. Таким образом, жизнь каждого из нынешних цивилизованных народов представляет ряд перемен в быте и понятиях, и ход этих перемен был неодинаков в разных частях народа. Потому точные характеристики могут относиться только к отдельным группам людей, составляющих народ, и только к отдельным периодам их истории.

Стремление объяснять историю народа особенными неизменными умственными и нравственными качествами его имеет своим последствием забвение о законах человеческой природы. Сосредоточивая свое внимание на действительных или мнимых различиях предметов, мы привыкаем не обращать внимания на качества, общие всем им. Если предметы принадлежат к разрядам очень различным, это забвение может оставаться безвредным для верности

наших суждений; например, если мы говорим о растении и о камне, нам не всегда бывает надобно помнить, что оба эти предмета имеют некоторые общие качества; разница между ними велика, и обыкновенно речь идет о таких обстоятельствах, в которых камень выказал бы качества, неодинаковые с растением. В истории это не так. Все те существа, жизнь которых рассказывает она, — организмы одного вида; разницы между ними менее значительны, чем одинаковые качества их; те влияния, действием которых производятся перемены в жизни этих существ, обыкновенно таковы, что на каждом из них отражаются приблизительно одинаковыми последствиями. Берем для примера пищу. Она у разных народов и у разных сословий одного народа очень неодинакова. Есть разница и в том, какое количество одинаковой пищи нужно взрослым людям неодинакового образа жизни для того, чтобы чувствовать себя сытыми и оставаться здоровыми. Но каждый человек ослабевает при недостатке пищи, и у каждого настроение души бывает дурным, когда он мучится голодом.

Соображения о качествах деятельности желудка, общих всем взрослым здоровым людям, несравненно важнее тех различий, какие могут быть справедливо или фантастически выводимы из соображений о разнице привычек разных людей к тому или другому сорту пищи. Привычка делает выносимыми для людей такие положения, которые нестерпимы людям непривычным. Но как бы ни была сильна она, общие качества человеческой природы сохраняют свои требования. Человек никогда не может утратить влечения улучшать свою жизнь, и если у каких-нибудь людей мы не замечаем этого стремления, мы лишь не умеем разгадать мыслей, скрываемых ими от нас по каким-нибудь соображениям, чаще всего по мнению, что бесполезно говорить о том, чего нельзя сделать.

Когда человек привык к своему положению, его желание улучшить жизнь обыкновенно лишь немногим возвышается над уровнем его привычного положения. Так, например, землешаец вообще желает лишь того, чтоб его труд или несколько облегчился, или принесли бы ему вознаграждение несколько больше прежнего. Это не значит, что при удовлетворении нынешнего своего желания он не будет иметь нового. Он только хочет оставаться благоразумным в своих желаниях и думает, что желать слишком много было бы нерассудительно. Если положение какого-нибудь народа долго было очень бедственным, то привычные его желания имеют очень небольшой размер. Из этого не следует, чтоб он не был способен желать гораздо большего, когда нынешние его желания будут удовлетворены. Если мы будем помнить это, у нас исчезнет фантастическое деление народов на способные и неспособные к достижению высокой цивилизации; оно заменится различием положений, благоприятных развитию стремления к прогрессу, и положений, принуждающих народ не думать о том, чего нельзя, по его мнению, достичь.

Если обстоятельства очень долго оставались такими, что народ не мог увеличить прежнего запаса своих знаний, он привыкает считать напрасным стремление увеличить их; но как только представляется возможность узнать что-нибудь новое, полезное для жизни, пробуждается в нем врожденное всем людям стремление к увеличению знаний. То же самое относительно всех других благ, совокупность которых называется цивилизацией.

## ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ «ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ» Г. ВЕБЕРА, Т. X

Пополним новыми заметками то, что говорили мы о характере нашего перевода в предисловии к шестому тому его.

Начнем и теперь, как было тогда, замечаниями о транскрипции звуков иностранных собственных имен. Тогда мы говорили о восточных, в частности, арабских именах; теперь будем говорить о западных.

Латинский алфавит, употребляемый всеми западными народами, обозначал буквами звуки своего языка очень удовлетворительно. Для передачи звуков греческого языка в нем были сделаны приспособления тоже очень удовлетворительные. Новые народы, принявшие латинский алфавит, приспособили его к обозначению звуков своих языков. Некоторые сделали это очень хорошо; например, итальянская орфография превосходна; заслуживает названия прекрасной и испанская; немецкая несравненно хуже испанской, не говоря уж об итальянской, но все-таки не очень дурна; английская — мученье для самих англичан, ужас для иностранцев; французская не лучше ее и менее ужасает иностранцев только потому, что ее мучения претерпело и преодолело, потому роднилось с нею очень много людей во всех европейских землях.

Но дурно ль или хорошо в каком-нибудь из новых западных языков приспособлен латинский алфавит к передаче звуков этого языка, все-таки он приспособлен в нем первоначально лишь для него; и чтобы сделать свой алфавит способным передавать звуки, чуждые национальному языку, каждый западный народ должен был сделать в нем некоторые пополнения.

В итальянском, испанском, французском языках пополнения национального алфавита для передачи чужих звуков сделаны — насколько сделаны — по правилам удовлетворительно. Так, например, во французском алфавите принято обозначать чуждый французскому языку английский звук *j* сочетанием букв *dj*, и это сочетание во французской транскрипции иностранных слов всегда соответствует тому звуку, который в английском алфавите обозначается буквою *j* (а в русской транскрипции иностранных слов сочетанием букв *дж*, совершенно соответствующим французскому сочетанию *dj*). В немецкой литературе еще не установилось такой

точности приспособления алфавита к передаче звуков, чуждых немецкому языку; так, например, сочетание букв dj в одной немецкой книге соответствует английскому языку j (дж), в другой — русскому звуку дь, в третьей — русскому сочетанию звуков дй; таким образом, иногда сомнительно, как следует прочесть слово djak — «джак» или «дьяк», слово djed, соответствуя в одной книге слову «джед», в другой соответствует слову «дед». — Подобная сбивчивость в приспособлениях национального алфавита к транскрипции чужих слов есть и у англичан. Правда, и англичане, и немцы заботятся теперь устранить шаткость из своих транскрипций иностранных слов, но еще не успели достичь полного успеха в том.

К чему было говорено это? Не к тому ли, чтобы напоминание о шаткости транскрипции в немецких и английских книгах служило извинением ошибок или недосмотров при передаче иностранных собственных имен в нашем переводе? Нет, речь о наших личных ошибках этого рода будет после. Теперь мы хотели выставить на вид необходимость дела, которое может быть исполнено только соглашением между важнейшими издательскими фирмами, редакциями главных журналов и газет, опытными и хорошо образованными корректорами. Мы говорим о необходимости ввести в наш алфавит точные приспособления к передаче иностранных собственных имен русскими буквами.

Мы хотели напомнить, что каждый национальный алфавит составлен для передачи только тех звуков, которые находятся в языке народа, употребляющего этот алфавит; что сам по себе он не имеет знаков, соответствующих звукам, чуждым этому языку; что для передачи их он нуждается в прибавке особых приспособлений и что все народы, имеющие литературу, какую должна иметь нация, чтобы заслуживать имя народа европейской цивилизации, ввели в свои алфавиты такие приспособления; что поэтому нуждается в них и русский алфавит.

Теперь мы не имеем возможности сносным образом написать по-русски французское слово, начинающееся буквой «и» или сочетанием букв «eu», немецкое слово, начинающееся буквой «ö» или буквой «ü»; не имеем даже возможности сносно написать ни одно из бесчисленных греческих, латинских, испанских, английских, немецких слов, имеющих в своем составе звук «h»; — прилично ли цивилизованному народу оставлять свой алфавит в таком беспомощном положении?

Дело было бы довольно извинительно, если бы мы оставляли свой алфавит не имеющим способов обозначать только те чуждые нашему языку звуки, произношение которых усваивается нами с трудом, как, например, немецкий звук «ng» или английский носовой звук в сочетаниях «ng» и «nk», или (в некоторых своих положениях) французский носовой звук, или английские звуки: твердое «th» и мягкое «th»; но нет: мы не имеем способа точно написать

французские звуки «eu», «u», немецкие «ö», «ü», хотя каждый русский, раз услышав, уж умеет сносно произнести их. И, что еще предосудительнее для нас, мы не позаботились дать нашему алфавиту способ изображать звук «h», который имеем мы в своем языке (например, в словах господин, госпожа, богатый), и который все мы, говорящие литературным наречием, произносим превосходно во всей его чистоте.

Есть два способа приспособлять алфавит народа к транскрипции звуков, для которых он не имеет особых букв: можно сделать прибавку какого-нибудь особого значка к основной фигуре буквы или можно обозначать звук сочетанием букв. Нам легко воспользоваться тем и другим способом, потому что оба они уж привычны нам: мы превращаем букву, соответствующую звуку латинского «i» в букву, обозначающую латинский звук «j», ставя над нею дугу концами вверх: «i», «j»; мы обращаем знак нашего звука «e» в знак звука «o» следующего за йотированным произношением согласной, ставя над ним две точки: «e», «ё»; употребляя другой способ, мы пишем «дж» для обозначения звука английского «j».

По какому способу и в каком именно виде произвести то или другое из надобных нам приспособлений нашего алфавита к транскрипции иностранных слов, это должно быть решено соглашением между издательскими фирмами, редакциями периодических изданий и корректорами.

Перечислим те звуки важнейших западных языков, для транскрипции которых особенно нужны приспособления, потому что надобность в них встречается особенно часто; будем держаться порядка латинского алфавита:

Короткое английское «a» (например, в словах at, and); звук, более близкий к латинскому «e» (нашему «э»), чем к латинскому (и нашему «а»);

французское «e» шует в некоторых своих положениях (например, в предлоге de);

французское «eu» и близкое к нему немецкое «ö»;

латинское, испанское, английское, немецкое «h»;

французское носовое «п», английское «п» в сочетаниях ng, nk и немецкое pg не одинаковы, но достаточно сходны с ним, чтобы для них годился знак, избранный для него;

английское «г», когда за ним не следует гласный звук (напр., в словах og, nog);

английское твердое «th» (напр., в словах thing, think). Буква  $\theta$  не годится для обозначения этого звука, потому что у нас укоренилась привычка произносить ее, как ф;

английское мягкое «the» (напр., в словах the, that);

французское «u». Немецкое «ü» достаточно близко к нему, чтобы быть отмечаему тем же знаком (выброшенная из граждан-

ской азбуки ижица не годна для обозначения этого звука, потому что мы привыкли произносить ее как наше и);

английское короткое «и» (напр., в словах but, cut);

английское «w»; итальянское, испанское, немецкое «и» в «аи» и тому подобных сочетаниях.

Кроме приспособлений для этих звуков, нужны еще некоторые; но лишь были бы сделаны эти, легко будет сделать по их образцу все другие.

Переходим к заметкам о транскрипции иностранных собственных имен в нашем переводе.

Мы не хотели делать никаких нововведений в азбуке, считая для такого преобразования надобным соглашение, о котором говорили. При слишком недостаточной приспособленности нашего алфавита к изображению звуков, чуждых русскому языку, и даже некоторых, существующих в нем, и при происходящей от этого невозможности удовлетворительно переложить на знаки нашей азбуки очень значительную часть иностранных имен, транскрипция многих разрядов этих слов колеблется между двумя или даже тремя, четырьмя способами, из которых один все-таки менее дурен, чем другой или другие; мы держались того, который казался нам наименее дурен. Но в некоторых именах иногда уклонялись от него по привычке к старому, худшему, и потом некоторые из этих ошибок оставались по недосмотру не поправлены нами. Так, например, из двух употребительных в нашей литературе транскрипций английского короткого «а», старая, сохраняющая букву «а», гораздо хуже новой, заменяющей ее буквою «э»; мы держались новой, но по привычке к старой иногда делали опisku, не всегда замечали ее, перечитывая рукопись, и по недосмотру оставляли ее неисправленной. Таким образом, имя Сгаптег, которое должно писать по-русски «Крэнмер», несколько раз было написано нами «Кранмер»<sup>21</sup>, где замечена была нами эта ошибка, она исправлена; но в некоторых местах, вероятно, ускользнула от нашего внимания и осталась непоправленной. Такие недосмотры досадны нам. Но еще хуже то, что мы не всегда находили надобные нам указания на истинное произношение имен, которых не умели с достоверною точностью прочесть без справок. На французском и английском языках встречаются имена, произношение которых несообразно с правилами орфографии этих языков; когда мы не находили указаний на их произношение, то, читая их по догадке, могли в некоторых случаях ошибаться, и, вероятно, иной раз ошибались. Ошибки незнания, по всей вероятности, также встречаются у нас в именах, принадлежащих языкам, орфография которых недостаточно известна нам. Так, например, мы полагаем, что сделали несколько ошибок незнания при восстановлении португальских форм личных имен португальцев, которых немцы

называют личными именами в немецкой форме. Немцы не шокируются, называя португальского генерала или писателя Johann; по-русски нелепо было бы называть его «Иоанном», надобно называть Жоано, по португальской форме его личного имени<sup>22</sup>. Не во всех случаях мы знали или могли найти португальские формы личных имен. По всей вероятности, есть у нас ошибки и в чтении некоторых португальских фамилий.

Это очень досадно. Но если и предположить, что мы ошиблись во всех тех случаях, когда приходилось нам делать транскрипцию без уверенности в ее правильности, число ошибочных транскрипций в нашем переводе невелико. И мы надеемся, что, сожалея вместе с нами о наших ошибках, русские ученые, занимающиеся историей Западной Европы, найдут в нашем переводе Вебера некоторое облегчение своим заботам о правильной транскрипции имен: мы дали ее многим именам, не имевшим ее. Кроме некоторых португальских, кельтских, датских и западнославянских имен, в сложности, очень немногих, и, быть может, двух, трех из французских или английских имен, произносимых не по правилам орфографии, транскрипция у нас везде надежна. Опечатки в именах не мешают этому: они вообще таковы, что разыскивать и поправлять их дело легкое.

Начиная наш перевод, мы считали надобным строго держаться подлинника, пока не приобретем у публики доверие, которое уполномочит нас улучшать переводимую нами книгу.

В первых четырех томах мы не позволяли себе никаких отступлений от подлинника. По всей вероятности, мы заслужили б одобрение публики, если бы менее долго оставались не принимающими на себя это право. Но мы и в пятом томе взяли на себя это право лишь в размере очень незначительном. На странице 263 мы сделали оговорку, что будем пользоваться им, предупредили читателей, что в отделах рассказа, относящихся к немецкой части франкского государства, будем отбрасывать подробности, не интересные для людей не немецкой национальности, например, будем в перечислениях монастырей сокращать подробности о тех из них, которые не имели важного исторического значения; мы говорили, что все эти выпуски, взятые вместе, составят лишь несколько страниц. Подводя теперь точный счет, мы видим, что они составили около 17 страниц (из 765, которые имеет пятый том в немецком подлиннике).

Гораздо больше свободы делать выпуски позволили мы себе при переводе шестого тома. В предисловии к нему мы говорили об этом так: «Вебер поддается увлечениям, господствующим в немецкой исторической литературе. Большинство немецких историков продолжает восхищаться победами своих предков в X, XI, XII веках в Италии. — Эти походы, гибельные для итальянцев,

были гибельны и для самих немцев. Немецкое государство, окрепшее благодаря благоразумию Генриха I, было распатано походами Оттона I и следующих императоров в Италию; Гоэнштауфены своими войнами в Италии разрушили свое государство и погубили свою династию. — В переводе выброшены почти все лирические тирады, которых довольно много в рассказе Вебера об итальянских походах немцев». — К этому мы, повторяя предупреждение, сделанное в предисловии русского издания пятого тома, прибавляли, что «из рассказа о делах, происходивших в самой Германии, выброшены те мелочи, которые неинтересны для людей других наций».

Мы продолжали делать так и при переводе следующих томов. Поговорим теперь подробнее о том, почему и в каком размере делали мы это.

Между нами, русскими, едва ли найдется много людей, которые не имели бы любви к своей нации. И если они есть, то не принадлежат к составу русской публики. В ней нет ни одного такого человека. Потому норма, на основании которой мы будем судить об отношениях русской нации к немецкой, не подлежит опасности быть отвергнутой кем-нибудь из людей русской публики. Эта норма — любовь русских к русской нации.

Любовь к своей нации обязывает людей быть признательными к тем народам, влияние которых было полезно для нее. Из этого следует, что мы, русские, пока мы помним, что не какие-нибудь другие люди, а русские, обязаны иметь признательность к французам, англичанам и немцам, при помощи которых мало-помалу выходим из бедственного положения, в какое повергло нас порабощение монголами<sup>23</sup>; обязаны быть признательными и к итальянцам, при содействии которых вышли из варварства народы, ставшие непосредственными руководителями нашими в деле улучшения нашего умственного, нравственного и материального состояния; мы обязаны также иметь признательность к грекам и римлянам, у которых учились итальянцы и потом, при помощи итальянцев, французы, англичане и немцы. Мы можем быть неодинаковых между собою мнений о том, какой из этих шести народов имеет наибольшее право на нашу признательность; но история общей европейской и, в частности, нашей русской цивилизации свидетельствует, что каждый из них имеет очень большое право на это наше чувство.

Есть другая, более высокая точка зрения на взаимные отношения между людьми; с нее очевидно, что каждый народ должен желать добра всякому другому; но не все мы судим о человеческих делах по этому возвышенному нравственному принципу, и когда речь идет, в частности, о наших обязанностях относительно народов, бывших непосредственно, как немцы, англичане и французы, или через их посредство — как греки, римляне и итальянцы, нашими учителями, нет необходимости говорить о том, что мы

обязаны иметь добрые чувства ко всем народам; относительно этих пяти наций (пяти, потому что итальянцы в сущности та же самая нация, которая в начале нашей эры называлась римской) у нас есть особенные обязанности быть не только доброжелательными, но и признательными к ним. Обязанностям, возлагаемым, по нашему мнению, на русских любовью к своей нации, соответствует характер мыслей, развиваемых в наших «Очерках» по вопросам, касающимся истории греков или римлян, итальянцев или французов, англичан или немцев. Но чувство признательности, какое должен иметь ко всем этим народам каждый русский, пока он помнит, что он русский, заставляло нас в наших «Очерках» разъяснять несправедливость порицаний, каким подвергается тот или другой из них по делам, в которых виновность была не на его стороне, защищать его от утрированных и потому несправедливых упреков за пороки или нравственные слабости отдельных лиц его, как будто за общие преступления всей его массы. Так, например, мы имели случаи разъяснять неосновательность обвинений греков после Пелопоннесской войны и римлян позднейших времен империи в трусости. Представлялись нам случаи защищать от такого же обвинения итальянцев. Таким же тоном признательного доброжелательства мы говорили о французах, англичанах и немцах, когда речь касалась каких-нибудь несправедливых порицаний им.

Это чувство руководило нами и в деле очищения книги Вебера от клеветы на немцев, имеющей характер безрассудного повторения похвал свирепостям, какие были делаемы немецкими войсками в Италии. В предисловии к VI тому мы говорили, что дурная привычка хвалиться победами в походах, деланных для завоевания или грабежа, принадлежит большинству публики и, по влиянию общественного мнения, большинству историков не у одних немцев, а у всех народов. Если бы мы переводили английскую или французскую историческую книгу, написанную обыкновенным у этих наций тоном, нам встретились бы такие же многочисленные и такие же отвратительные похвалы злодейским походам войск той нации, к которой принадлежит и для которой пишет автор.

Рассудим, как обязан был бы поступать человек, которому приходилось бы переводить чей-нибудь рассказ об отдельном лице, имевшем свои слабости, часто делавшем, как и всякий человек, нехорошие дела, но заслуживающем уважения другими своими качествами и поступками более важными. Предположим, например, что мы должны переводить биографию человека доброго и умного, который в минуты раздражения обижал других и в минуты увлечения поступал безрассудно. Он мог по слабости, общей всем людям, ставить в похвалу себе некоторые из качеств и дел, достойных не похвалы, а порицания; его родные тоже хвалили их, имея сами такие же слабости; один из них написал для чтения им биографию его в этом тоне. В их мнении она не компрометирует человека,

жизнь которого рассказывает с неразборчивым панегиризмом; но если попадетя в руки людям, не участвовавшим в дурных делах этого лица и свободным от его слабостей, то возбудит в них омерзение к нему. Предположим, например, что безусловно восхваляемый за все человек, поддаваясь, по слабости характера, обычаю своего века, напивался иногда допьяна и в пьянстве буйствовал. В биографии, написанной родственником и поклонником его, вставлен по поводу всякого пьяного кутежа панегирик пьянству, по поводу всякого буйства, сделанного пьяным, — панегирик буйству. Посторонние люди, читая такую биографию, легко могут притти к мнению, что герой ее был негодяй и злодей. А на самом деле он, как мы говорили, был добрый и честный человек, виновный лишь в слабости характера, и те пошлости, в какие вовлекался он, поддаваясь дурному обычаю современников, далеко перевешивались массой разумных трудов, которыми занимался он, и честных поступков, которые делал в обыкновенном своем здоровом душевном состоянии. Если вы переводите для другой публики биографию этого деятеля, написанную поклонником его для родных, имевших одинаковые привычки относительно пьянства и буйства, считавших пьянство не бесхарактерностью, а явлением душевной энергии, буйство не пошлостью, вредной и для самого буяна, как для жертвы его, а геройством, то вы обязаны сделать одно из двух: или к каждой пошлой тираде, превозносящей пьяные, буйные дела присоединять опровержение, разъясняющее истинный характер дурных дел, извиняющее их безрассудством делавшего их, напоминаящее, что не в этих дурных, а в других, хороших делах состоит его право на добрую славу; или вы должны без церемонии выбрасывать пустословные излияния пошлого восторга. Если вы выберете второй способ, то вы оставите два, три такие панегирика, чтобы читатели вашего перевода видели, какие предубеждения господствовали в кругу родных этого деятеля и были разделяемы автором переводимой вами книги; дав эти образцы, вы прибавите от себя замечание, что в книге находится много подобных мест и что вы исключили их из вашего перевода по их пустоте и пошлости. Мы предпочли этот второй способ не только потому, что он избавляет русскую публику от скуки читать множество однообразных пустословных тирад и по необходимости монотонных опровержений их; у нас был и другой мотив делать так. Никакими опровержениями дурных похвал нельзя рассеять омерзение, возбуждаемое в беспристрастных людях панегириками биографа слабостям и дурным делам его героя. Мы не хотели, чтобы в русском издании книга Вебера оставалась, — подобно книгам большинства немецких историков, мнения которых разделяет он, — дающей несправедливо дурное мнение о немецкой нации.

Так поступили бы мы с французской книгой, превозносящей безрассудства и злодейства французов, с английской, превозносящей безрассудство и злодейства англичан. Наше уважение к фран-

цузской или английской нации обязывало бы нас к этому. Но книга, переводимая нами, не французская или английская, а немецкая. Мы поступаем с нею, как поступали бы с французской или английской и потому, что имеем и к немцам такое же чувство, как к французам и англичанам. Немцы тоже имеют право на признательность русских и тоже дурно было бы с нашей стороны оставлять в говорящей о них книге самохвальство, искажающее благородные черты немецкой нации, создававшей свое благосостояние разумным, честным умственным и физическим трудом. Подобно французской, английской и всякой другой, она делала много безрассудств, вредивших ей, много несправедливостей, уменьшавших славу, какой заслуживает она своими хорошими качествами и делами. К числу этих дурных ее слабостей принадлежит общая ей со всеми другими нациями привычка к самохвальству. Мы не скрывали от наших читателей, что в переводимой нами книге много тирад самохвальных, но считали обязанностью уважения к немецкому народу выбросить эти места, искажающие его характер. Чем было виновато в итальянских походах огромное большинство немцев, живших в период их? Только тем, что не умело остановить их; осуждая их, оно только не могло помешать им, как не могло помешать и многому другому такому, что осуждало. Хвалили эти дурные дела только соучастники их. Это забывают потомки; таково вообще происхождение национального самохвальства: забвение о страданиях большинства предков от дурных дел меньшинства, забвение о том, что оно порицало эти дурные дела меньшинства.

Мы не желали, чтобы историческая деятельность немецкой нации выставлялась в нашем переводе почти исключительно с дурной стороны, как это делается немецкими историками, разделяющими грубые — правда, ослабевающие, но все еще остающиеся слишком сильными — предубеждения немецкой публики.

Выбрасывая дурные лирические тирады в прославление грабительских нашествий немцев на Италию, мы видели, что страницы, очищаемые от этих риторических украшений, получают характер простоты, которой недостает многим другим из страниц того (шестого) тома, переводимых нами с такою же точностью, какую ставили мы себе правилом при переводе первых пяти томов книги. Мы оставляли в переводе VI тома эту разнохарактерность слога, чтобы читатели, замечая ее, видели, до какой степени можно было бы сократить изложение мыслей на некоторых из страниц, оставленных нами без всякой переделки. Те из читателей, которые обратили внимание на разнохарактерность слога в переводе VI тома, без сомнения, убедились, что через упрощение слога можно было бы сокращать некоторые места наполовину, не выпуская ни одного факта, ни одной мысли автора. С VII тома мы стали делать упрощение слога. Разъясним, почему мы считаем его улучшающим книгу.

У каждой нации, имеющей богатую литературу, есть своя особенная рутинная риторика. Едва ли можно сказать о русских, что они приобрели такие прочные понятия о достоинствах и недостатках слога, как французы, англичане и немцы. Есть и у нас рутинная риторика, но она смесь французской, английской и немецкой рутин, и элементы для этой смеси берутся разными авторами из трех своих источников не в одинаковых пропорциях, так что характер русской рутинной риторики у одних авторов близок к французской рутине, у других — к немецкой или английской. Но и у русских, как у немцев, англичан, французов, есть влечение избавиться от риторического пустословия. В частности, русской публике нравится та манера писать прозой, которой держался Пушкин. Он любил в прозе простоту, чуждался витиеватости. Насколько русские писатели умеют следовать его примеру, они пишут просто. Из иностранных обычных способов прозаического изложения русским более нравятся французский и английский, чем немецкий. По всей вероятности, они правы в этом предпочтении. Но есть и в английской, и во французской прозе дурная рутинная погоня за излишними украшениями речи. Например, большинство английских прозаиков любит щеголять юмором, большинство французских — антитезами, остроумными оборотами слов, напыщенным эмфазом\*. Но каковы бы ни были дурные излишества украшений слога в английской и французской риторической рутине, немецкая гораздо хуже; она — смесь тяжелого педантизма с поэтическими оборотами речи, пригодными только для стихов, нелепыми в прозе. Разумеется, как и всякая дурная привычка, манера немецких прозаиков писать смесью педантского слога с поэтическим объясняется историей. Массу немецких писателей до сих пор составляют люди, не имеющие доступа в светское общество: они так бедны, что не могут вести знакомства с светскими людьми на условиях равноправности; потому возвращаются в круг таких же кабинетных тружеников, как сами они, и если не служат учителями, то приобретают склад мыслей, каким повсюду отличаются от обыкновенных людей так называемые школьные педанты. Национальную славу немцев в литературе, доступной всем, — не ученой, а читаемой всеми образованными людьми, создающей умственные привычки публики, составляет не проза, а та часть поэзии, которая имеет стихотворную форму. Гете и Шиллер много писали прозой, но знаменитейшие и действительно гениальнейшие произведения их те, которые написаны стихами. Равного им влияния не имел еще никто из последующих немецких писателей; потому натурально, что немецкие прозаики до сих пор впутывают в свои ученые книги обороты мыслей, слагающиеся под воспоминаниями о стихах. К этим национальным источникам странностей немецкой прозы присоединяется у большинства немецких

---

\* Усилением эмоциональной выразительности речи. — Ред.

прозаиков желание показать, что они умеют строить антитезы и всякие остроумные обороты слов не хуже французов. В добавление к тому, огорчаясь своей репутацией педантов, пишущих тяжелым языком, они усердствуют щеголять легкостью, великосветским изяществом слога. В результате всего этого получается такой хаотический и изысканный слог, который не может нравиться никому, кроме немцев и людей, выросших на немецких книгах.

Одно из его качеств — растянутость. Если отбросить тяжеловесные украшения, имеющие притязание придавать речи поэтичность, остроумие, глубокомыслие и вместо того делающие ее тяжелой и многословной, то, при сохранении всех оттенков мысли немецкого ученого, пишущего обыкновенным немецким слогом, мы получаем из четырех страниц его рассуждений три или даже две. Вебер пишет тем же слогом, как большинство немецких историков и других ученых.

С VII тома мы стали отбрасывать лишние риторические украшения. Не все страницы переводимой нами книги одинаково растянуты ими. На многих преобладает рассказ о фактах, и мало рассуждений; на некоторых факты загромождены риторическими рассуждениями. От этой разницы происходит неодинаковость пропорции, на какую уменьшается в нашем переводе объем тех отделов книги, в которых речь идет не о немецких делах и в которых мы не делаем никаких сокращений, кроме происходящих от замены витиеватого слога простым.

В отделах, рассказывающих о внутренних делах Германии, мы, как уже несколько раз говорили, отбрасываем мелочные подробности, неинтересные для читателей не немецкой национальности.

Таким образом, в нашем переводе, начиная с VI тома, число страниц выходит значительно меньше, чем в немецком подлиннике. Приведем цифры, заметив, что русские страницы равны величиною немецким.

Томы	Число страниц	
	немецкого подлинника	русского перевода
VI	823	742
VII	913	760
VIII	918	793
IX	926	629
X	920	1000

Мы уверены, что рассудительные люди одобряют выпуск мелочных подробностей в изложении немецких дел и упрощение слога для приспособления русского перевода немецкой книги к интересам и вкусу русской публики, как одобряются французами и англичанами подобные приемы при переводах немецких книг на их языки. Само собой разумеется, что нельзя делать этого при переводе творений великих стилистов. Но Вебер не имеет притязаний быть Титом Ливием<sup>24</sup>. Он пишет, как большинство немецких историков, и ставит свою заслугу не в слоге, а в добросовест-

ной передаче существенного содержания тех монографических трудов, которые считаются наилучшими. Удовлетворительное исполнение такого труда делает его книгу лучшим из трактатов, излагающих всеобщую историю в подробном фактическом рассказе. У рассудительных людей не может быть и вопроса о том, должны ли книги подобного рода быть при переводе приспособляемы к надобностям публики, для которой делается перевод. Вопрос может быть лишь о том, хорошо ли переделывали мы переводимую нами книгу, и об этом действительно должен быть вопрос. Мы полагаем, что заслужили доверие читателей настолько, чтоб они были расположены предполагать нашу переделку производимой хорошо. Специалисты, разумеется, не имеют права удовлетвориться этим предположением без проверки. Мы просили б их сличать наш перевод с подлинником. Без сомнения, каждому из них при таком сличении показалось бы, что он сумел бы исполнить переделку лучше, нежели исполняется она нами. У некоторых из них это мнение будет, вероятно, справедливо. Но каждый, имеющий знания, надобные для основательного сличения, увидит, что в нашем переводе книга Вебера лучше, нежели в подлиннике. — Значит ли это, что мы довольны нашим переводом? Нет, мы полагаем, что следовало бы нам улучшить книгу гораздо больше, нежели мы делаем. Но толковать о тех своих намерениях, которых не исполняешь, — дело напрасное.

Вебер писал очень добросовестно. Благодаря тому фактических ошибок у него мало. Но понятно, что в таком громадном труде недосмотры неизбежны. Некоторые из них, без сомнения, остались не замечены нами. Но мы с уверенностью можем сказать, что в большинстве случаев они нами исправлены.

## ОЧЕРК НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

### 4

#### Общий характер элементов, производящих прогресс

Самые существенные различия между людьми те, которые состоят в различиях умственного и нравственного развития их и в степени их материального благосостояния. Говорят, что в племенах, находящихся на очень низкой степени развития, все люди данного племенного общества имеют одинаковые понятия, знания, нравственные привычки. Это мнение — риторическая утрировка того факта, что разницы между людьми по привычкам и понятиям в малочисленном и мало цивилизованном племени менее велики, чем в многочисленной высоко цивилизованной нации. Они в нем менее велики, чем в ней; но все-таки они в нем есть, и притом большие. Иначе и быть не может. Даже в стаде животных за-

мечаются большая разница между его членами по привычкам и занятиям. Так, например, не говоря уже о различии характера между самцами и самками, тот самец, который имеет авторитет вождя стада, выказывает гораздо больше сообразительности, находчивости, осторожности и смелости, чем остальные самцы, привыкшие руководиться его внушениями. Дикари на самой низкой ступени развития все-таки имеют ум более развитой, чем даже слоны или оранг-утанги; из этого должно заключать, что между людьми одного дикарского племени разницы по обширности знаний и характеру привычек должны быть гораздо больше, нежели различия между животными одного стада.

Но отлагая этот спорный вопрос по его сравнительной мало-важности для истории и обращая внимание только на те племена и народы, которые имеют сколько-нибудь важное историческое значение, мы видим, что в каждом из них некоторые люди значительно превосходят умственными или нравственными качествами средний уровень своего племени и народа, некоторые другие далеко не достигают его. Разницы так велики, что в самой цивилизованной нации находится довольно много людей, уступающих в умственном и нравственном отношении наиболее развитым людям племени, мало возвысившегося в общем своем составе над дикарством. Возьмем для примера тот разряд знаний, относительно которого особенно легко решать, в каком размере обладает им тот или другой человек, — умение считать. В Англии, Франции, Германии находится множество взрослых физически и умственно здоровых людей, не умеющих решать арифметические вопросы, без труда разрешаемые торговыми людьми или сборщиками налогов в негритянских государствах Центральной Африки. Сравнение людей по нравственному их достоинству гораздо сбивчивее, чем определение их умственного уровня; но и тут мы можем делать довольно прочные выводы, если будем сравнивать не всю сумму нравственных качеств, а какое-нибудь определенное качество, например, то, как обращается отец или мать с детьми. Взяв для сравнения именно этот элемент нравственного развития, мы должны будем признать, что в племенах, ведущих очень грубую жизнь, находится много родителей, обращающихся с детьми менее безжалостно, чем многие родители, принадлежащие по своей национальности к передовым народам.

Таким образом, каждый народ, имеющий историческое значение, представляет соединение людей, очень различных между собою по степеням умственного и нравственного развития. Часть его составляют люди, похожие своим невежеством и нравственной грубостью на самых невежественных и безжалостных дикарей; другие части занимают всяческие средние степени между этой низшей и наилучшими представителями своей нации.

Потому, когда говорят о какой-нибудь нации, что она достигла высокой степени образованности, это не значит, что все люди, со-

ставляющие ее, много выше дикарей по своим привычкам и умственному развитию; но тем самым, что этой нации дается название высоко цивилизованной, уже высказывается мнение, что большинство людей, составляющих ее, далеко превосходит дикарей своим умственным развитием и достоинством нравственных привычек.

Теперь все серьезные ученые согласны между собою в признании той истины, что все особенности, которыми возвышаются над грубейшими и невежественнейшими из диких племен цивилизованные люди, составляют историческое приобретение.

Спрашивается, какими ж элементами произведено это улучшение понятий и привычек?

Чтобы ясно было, какова необходимо должна быть сущность ответа на этот вопрос, поставим вопрос более широкий: спросим себя не о том, какими элементами произведено повышение некоторых людей в умственном и нравственном отношении над некоторыми другими людьми, а вообще о том, чем произведено все повышение человеческой жизни над жизнью других живых существ, имеющих организацию тела, подобную человеческой. Ответ известен с незапамятных времен всем людям, достигшим такого умственного развития, чтоб сознавать разницу между человеком и так называемыми неразумными животными.

Все мы знаем, что все те преимущества, какие имеет человеческая жизнь над жизнью млекопитающих, не одаренных такой силой ума, как человек, — результаты умственного превосходства человека.

Это общеизвестное и общепризнанное решение общего вопроса о происхождении всех преимуществ человеческой жизни заключает в себе с очевидной ясностью ответ на частный вопрос о силе, производящей прогресс в жизни народов: основная сила, возвышавшая человеческий быт, — умственное развитие людей. Само собою разумеется, что и умственной силой, как всякой другой, человек может злоупотреблять так, что она будет производить не пользу, а вред или для других людей, или даже и для него самого. Так, например, интересы честолюбца обыкновенно бывают неодинаковы с благом его нации, и свое умственное превосходство над ее массой он употребляет во вред ей; в случае успеха он очень часто привыкает к такому необузданному удовлетворению своих страстей, что разрушает собственное умственное, а наконец, даже и физическое здоровье; что бывало с отдельными людьми, увлекавшимися честолюбием, бывало и с целыми народами. Так, афиняне губили других греков и погубили самих себя, злоупотребляя своим умственным превосходством над большинством других греков; так потом римляне погубили все цивилизованные народы и самих себя, злоупотребляя своим умственным превосходством над испанцами, галлами и другими малообразованными народами Европы и соседних с Европою частей Африки и Азии. Умственная сила может

производить и часто производит вредные результаты; но производит их лишь под давлением сил или обстоятельств, искажающих природный характер ее. Под влиянием страстей человек очень умный и просвещенный может поступать гораздо хуже огромного большинства своих соотечественников, не имеющих ни такого сильного природного ума, ни такой высокой образованности; но теперь признано, что все такие поступки лишь результаты обстоятельств, помешавших нормальному развитию душевной жизни этого человека. Само по себе умственное развитие имеет тенденцию улучшать понятия человека о его обязанностях относительно других людей, делать его более добрым, развивать в нем понятия о справедливости и честности.

Всякая перемена в народной жизни — сумма перемен в жизни отдельных людей, составляющих нацию; потому, когда мы хотим определить, какие обстоятельства благоприятны и какие неблагоприятны улучшению умственной и нравственной жизни нации, мы должны рассмотреть, от каких обстоятельств улучшается или портится в умственном или нравственном отношении отдельный человек.

В старые времена вопросы этого рода были очень затемнены грубыми понятиями, остававшимися у большинства ученых людей от варварской старины их наций. Теперь дело не представляет больших затруднений в теоретическом отношении. Основные истины ясны для большинства просвещенных людей передовых наций, и меньшинство, находящее эти истины несообразными с своей личной выгодой, уже стыдится отрицать их, принуждено вести борьбу против них казуистическим способом: оно говорит, что вообще разделяет честные убеждения большинства, оно только старается доказывать, что эти истины не вполне применяются к данному частному случаю, в котором они противоречат выгодам его. Таких оговорок всегда можно найти много, но фальшивость их обыкновенно бывает очевидна для всех, не имеющих личной выгоды называть их основательными.

В наиболее мрачные времена средних веков господствовало между учеными людьми мнение, что человек по своей природе расположен к дурному и делает хорошее только по принуждению. Применяя это к вопросу об умственном развитии, педагоги тех времен утверждали, что преподавание теоретических знаний бывает успешно, лишь когда ведется посредством жестоких наказаний. Ученые, писавшие о нравственной жизни общества, точно так же говорили, что масса людей расположена вести порочную жизнь, совершать всяческие преступления, и что единственным основанием общественного порядка должно быть угнетение, что только насилие делает людей трудолюбивыми и честными. Все мнения этого рода признаны теперь невежественными, противоречащими человеческой природе.

Из наук о законах общественной жизни первая выработала точные формулы условий прогресса политическая экономия. Она установила, как незыблемый принцип всякого учения о человеческом благосостоянии, ту истину, что только добровольная деятельность человека производит хорошие результаты, что все сделаемое человеком по внешнему принуждению выходит очень плохо, что успешно делает он только то, что сам желает. Политическая экономия применяет эту общую идею к разъяснению законов успешности материального человеческого труда, доказывая, что все формы не добровольной работы непроизводительны и что материальным благосостоянием может пользоваться только то общество, в котором люди пахут землю, изготавливают одежду, строят жилища каждый по собственному убеждению в полезности для него заниматься той работой, над которой он трудится.

Применяя тот же принцип к вопросу о приобретении и сохранении умственных и нравственных благ, другие отрасли общественной науки признали теперь, что просвещенными и нравственными становятся только те люди, которые сами желают сделаться такими, и что не только повышаться в этих отношениях, но и оставаться на достигнутой высоте человек может лишь в том случае, если он сам желает этого, добровольно заботится об этом. Действительно, все мы по житейским наблюдениям знаем, что если ученый человек утратил любовь к науке, он быстро теряет приобретенные знания и мало-помалу обращается в невежду. То же самое и о других сторонах цивилизации. Если, например, человек утратил любовь к честности, он быстро вовлечется в такое множество дурных поступков, что приобретет привычку к бесчестным правилам жизни. Никакое внешнее принуждение не может поддержать человека ни на умственной, ни на нравственной высоте, когда он сам не желает держаться на ней.

Во времена господства свирепых педагогических систем говорили, что люди — в данном случае люди еще не взрослых лет, дети — выучиваются чтению, письму, арифметике и так далее только по принуждению, по страху наказаний за леность. Теперь все знают, что это вовсе не так, что каждый здоровый ребенок имеет природную любознательность и если внешние обстоятельства, досадные для него, не заглушают ее, то учится охотно, находит наслаждение в приобретении знаний.

Люди, действующие в исторических событиях, не дети, а люди, ум и воля которых сильнее детских. Если жизнь ребенка шла сколько-нибудь удовлетворительно в материальном отношении и не чрезвычайно дурно в умственном, то, по достижении юношеских лет, он оказывается человеком, понимающим вещи рассудительнее, способным держать себя благоразумнее, чем лет за пять перед тем. Вообще говоря, десятилетний ребенок знает больше, рассуждает умнее, имеет больше силы характера, чем пятилетний, а пятнадцатилетний подросток много превосходит

всеми этими качествами десятилетнего ребенка, и если жизнь его в следующие годы пойдет не чрезвычайно дурно, то в 20 лет он станет человеком еще более знающим, умным, рассудительным, имеющим более твердую волю. Менее быстр становится прогресс человека в умственном и нравственном отношениях по достижении полного физического развития; но как физические силы человека продолжают возрастать довольно много лет после совершеннолетия, так, по всей вероятности, продолжают возрастать и умственные его силы и способность быть твердым в исполнении своих намерений. Можно полагать, что возрастание сил прекращается обыкновенно около 30-тилетнего возраста, а при благоприятном ходе жизни длится несколькими годами больше. Когда оно прекращается, физические, умственные и нравственные силы человека довольно долго держатся приблизительно на высшем достигнутом уровне и, по всей вероятности, не раньше, чем начинает хилеть организм человека в отношении физической силы, начинается у здорового человека упадок умственных и нравственных сил. Так теперь думают натуралисты, занимающиеся изучением человеческого организма.

С каких лет человек начинает считать себя равным по уму и нравственной силе с людьми, достигшими полного развития? Под влиянием самолюбия эта мысль обыкновенно овладевает человеком раньше того, чем было бы справедливо ему начать думать о себе так. Но громадное большинство людей, которых старшие называют несовершеннолетними, все-таки сохраняет расположение следовать примеру старших, и, например, пятнадцатилетние юноши вообще стараются подражать примеру своих старших родных или знакомых. Таким образом, о большинстве людей, даже уже довольно близких к совершеннолетию, все мы положительно знаем, что их развитие определяется качествами старшего поколения. Они, как имели с младенчества, так и по достижении уже высокого физического роста и приобретении довольно значительной физической силы сохраняют влечение сделаться такими, как их старшие; потому нет надобности ни в каком насилии для того, чтобы дети и подрастающие юноши или девушки развивались именно так, как желают старшие: у них самих есть очень сильное стремление к этому; для воспитания их нужно не принуждение, а только доброжелательное содействие тому, чего сами они желают; не мешайте детям становиться умными, честными людьми — таково основное требование нынешней педагогики; насколько умеете, помогайте их развитию, прибавляет она, но знайте, что меньше вреда им будет от недостатка содействия, чем от насилия; если вы не умеете действовать на них иначе, как принуждением, то лучше для них будет оставаться вовсе без вашего содействия, чем получать его в принудительной форме.

Мы напоминаем об основном принципе педагогики потому, что до сих пор остается в большом обыкновении сравнивать инозем-

ные необразованные племена и низшие сословия своей нации с детьми и выводить из этого сравнения право образованных наций производить насильственные перемены в быте подвластных им нецивилизованных народов и право господствующих в государстве просвещенных сословий поступать таким же способом с бытом невежественной массы своей нации. Вывод фальшив уж и по одному тому, что сравнение совершеннолетних необразованных людей с детьми — пустая риторическая фигура, уподобляющая одно другому два совершенно различные разряда существ. Самые грубейшие из дикарей — вовсе не дети, а такие же взрослые люди, как и мы; тем меньше одинаковости с детьми у простолюдинов цивилизованных наций. Но примем на минуту, что фальшивое сравнение не фальшиво, а верно. Все-таки оно не дает ни малейшего полномочия каким бы то ни было, хотя бы самым просвещеннейшим и доброжелательнейшим, людям насильственно изменять те стороны быта простолюдинов или хотя бы дикарей, о которых идет речь, при оправдывании произвольных распоряжений относительно образа их жизни. Пусть они маленькие дети (вероятно, впрочем, уже не грудные младенцы, потому что сами своими руками берут пищу и своими зубами жуют ее, а не питаются молоком жен своих просвещенных попечителей). Пусть мы нежнейшие отцы этих — вероятно, уж не двухмесячных, а не меньше, как двухлетних — малюток; что ж из того? Дозволяет ли педагогика отцу стеснять двухлетнего ребенка больше, чем необходимо для сохранения целости рук и ног, лба и глаз малютки? Дозволяет ли она принуждать этого малютку не делать ничего такого, чего не делает отец, и делать все то, что он делает? Отец ест при помощи вилки, должен ли он сечь двухлетнего ребенка, хватающего куски кушанья рукой? «Но малютка обожжет себе пальчики о кусок жаркого». Пусть обожжет, беда не так велика, как сечение. Впрочем, любители сравнения дикарей или простолюдинов с детьми, вероятно, дают предметам своих нежных забот, пашущим землю, или пасущим скот, или хотя собирающим ягоды для своего пропитания, никак не меньше десятилетнего возраста. Хорошо; какие же права имеет не то что посторонний воспитатель, а родной отец над десятилетним ребенком? Имеет ли право хотя бы принуждать его учиться? Педагогика говорит: «Нет; если десятилетний мальчик не любит учиться, причина тому не он, а его воспитатель, заглушающий в нем любознательность дурными приемами преподавания или непригодным для воспитанника содержанием его. Надобность тут не в принуждении воспитанника, а в том, что воспитателю должно перевоспитать самого себя и переучиться: ему следует сделаться из скучного, бестолкового, сурового педанта добрым и рассудительным преподавателем, отбросить дикие понятия, которыми загроможден здравый смысл в его голове, приобрести взамен их разумные. Когда эти требования науки будут исполнены воспитателем, мальчик станет охотно учиться всему, что най-

дет тогда надобным преподавать ему учитель, сделавшийся человеком рассудительным и добрым. Принудительная власть взрослых людей над десятилетним мальчиком ограничивается тем, чтоб удерживать его от нанесения вреда самому себе и другим. Но вред вреду рознь. Когда речь идет о принудительных мерах для предотвращения вреда, то ясно само собою, что не годится предотвращать менее значительный вред нанесением более значительного. Принуждение по самой сущности своей вредно: оно приносит огорчение стесняемому и наказываемому, оно портит его характер, возбуждая в нем досаду на запрещающих и наказывающих, вводя его во враждебные столкновения с ними. Поэтому рассудительные родители, другие старшие родные, воспитатели считают дозвоительным для себя употребление насильственных мер против десятилетнего мальчика лишь в немногих наиболее важных из тех случаев, в которых поступки его вредны ему по их мнению. Когда вред не очень важен, они действуют на мальчика только советами и доставлением ему удобств отвыкать от вредного: они справедливо полагают, что мелочные шалости, от которых не будет большой беды ни самому мальчику, ни другим, не должны быть предметами угроз и наказаний; пусть сама жизнь отвлечет его от этих шалостей, думают они, помогают делу советами, стараются доставить шалуну другие, лучшие развлечения и ограничиваются этим. — Впрочем, бесспорно, бывают случаи, в которых вред воспрещаемого более велик, чем вред воспрещения. В таких делах принудительные меры оправдываются разумом и предписываются совестью; конечно, с оговоркой, что они не будут более суровы или стеснительны, чем необходимо для пользы мальчиков, подвергаемых им. Предположим, например, что воспитатель получил в свое заведывание толпу мальчиков, имеющих привычку драться между собой камнями и палками. Он обязан воспретить им эти драки, в которых часто получают увечья, иной раз даже бывающие смертельными. — О делах ли подобного рода ведется речь, когда принудительные меры против уподобляемых детям простолюдинов или дикарей оправдываются обязанностью воспитателя запрещать детям вредные для них поступки? Нет, к фактам этого разряда не могут относиться подобные рассуждения. Во-первых, если иметь в виду эти факты, то не о чем вести спор, нечего доказывать; право правительства воспрещать драки не отрицается никем; во-вторых, когда говорится о воспрещении драк, то нельзя говорить, в частности, о воспрещении их какому-нибудь особому разряду людей: речь должна относиться ко всем людям, дерущимся между собою; какова степень их образованности, все равно: они дерутся между собой, этого достаточно; кто бы ни были они, знатные или незнатные, ученые или невежды, одинаково надобно прекратить их драку. И правительству ли только принадлежит право прекратить ее? — Нет; всякому рассудительному человеку совесть велит прекратить — если он может — всякую драку, какую

он видит, и законы всех цивилизованных земель одобряют каждого, исполнившего эту обязанность совести. Какая ж надобность толковать, что и правительство имеет право прекращать драки? Во всех цивилизованных странах существует и одобряется всем населением их закон, не то что дающий правительству право, — нет, возлагающий на него обязанность прекращать драки. В каждой цивилизованной стране все население непрерывно требует от правительства исполнения этого закона. И во всякой цивилизованной земле он один и тот же для всего ее населения; никаких исключительных льгот или стеснений в деле драк нет ни для какого класса людей, знатного ль или низкого, просвещенного ль или невежественного; нет их, и не нужно. Ни в какой цивилизованной стране нет никаких споров ни о чем из этого. К чему ж было бы толковать, в частности, о простолюдинах и о том, что простолюдины подобны детям, а правительство подобно должно быть школьным учителям этих мнимых школьников, здоровенных мужчин и седых стариков, если бы рассуждающие о сходстве простолюдинов с детьми желали только доказывать, что правительство имеет право прекращать драки простолюдинов? Ясно, что любители уподобления простолюдинов детям имеют в виду не восприятие драк, а нечто совершенно иное; им хочется, чтобы простолюдины жили по их фантазиям, им хочется переделывать народные обычаи по своему произволу. Предположим, что все не нравящиеся им черты быта простолюдинов действительно дурны, что все правила быта, которыми желают они заменить эти черты, действительно были бы сами по себе хороши. Но они — любители насилия, хоть и умеют говорить языком цивилизованного общества, остаются в душе людьми варварских времен.

Во всех цивилизованных странах масса населения имеет много дурных привычек. Но искоренять их насильем значит приучить народ к правилам жизни еще более дурным, принуждать его к обману, лицемерию, бессовестности. Люди отвыкают от дурного только тогда, когда сами желают отвыкнуть; привыкают к хорошему, только когда сами понимают, что оно хорошо и находят возможность усвоить его себе. В этих двух условиях вся сущность дела: в том, чтобы человек узнал хорошее, и в том, чтобы нашел возможным усвоить его себе; в желании усвоить его себе никогда не может быть недостатка у человека. Не желать хорошего — не в натуре человека, потому что не в натуре какого бы то ни было живого существа. Нечего и говорить о том, желают ли хорошего себе существа, дышащие, подобно человеку, легкими, имеющие высоко развитую нервную систему; посмотримся в движение червяка: даже и он ползет от того, что кажется ему дурным, к тому, что кажется ему хорошим. Влечение к тому, что кажется хорошим, — коренное качество природы всех живых существ.

Если мы, просвещенные люди какого-нибудь народа, желаем добра массе наших соплеменников, имеющей дурные, вредные для

нее привычки, наша обязанность состоит в том, чтобы знакомить ее с хорошим и заботиться о доставлении ей возможности усвоить его. Прибегать к насилию — дело совершенно неуместное. Когда препятствие к замене дурного хорошим только незнание хорошего, нам легко достичь успеха в желании улучшить жизнь наших соплеменников; те истины, которые надобно узнать им, не какие-нибудь головоломные теоремы специальных наук, а правила житейского благоразумия, совершенно доступные пониманию всякого взрослого человека, хотя бы самого невежественного. Трудность дела не в том, чтобы растолковать простолюдинам вредность дурного, полезность хорошего; важнейшие истины этого рода хорошо известны огромному большинству простолюдинов каждого народа нашей европейской цивилизации. Оно само желает заменить свои дурные привычки хорошими и не исполняет своего желания только потому, что не имеет средств вести такую жизнь, какую считает хорошей и желало бы вести. Оно нуждается не в наказаниях, а в приобретении средств для замены дурного хорошим. Меньшинство, желающее жить по правилам, которые справедливо кажутся дурными просвещенным людям, ничтожно по количеству в каждой из наций цивилизованного мира; оно состоит из людей, которых считает дурными и масса простолюдинов, как масса образованного общества. Кроме этих немногих, нравственно больных людей, все остальные простолюдины, как и все остальные просвещенные люди, желают поступать хорошо; и если поступают дурно, то лишь потому, что дурная обстановка их жизни принуждает их к дурным поступкам; все они тяготеют к этому, все желают улучшить обстановку своей жизни так, чтобы не быть вводимыми ею в дурные поступки. Обязанность людей, желающих добра своему народу, состоит в том, чтобы помогать осуществлению этого желания огромного большинства людей всех сословий. Не насилие против простонародья или какого другого класса наций тут нужно, а содействие исполнению всеобщего желания.

Таковы должны быть отношения просвещенных людей к массе их соотечественников. И должно сказать, что уж с довольно давнего времени все правительства цивилизованных государств держатся этих разумных понятий; варварский способ производить перемены в народной жизни насильственными мерами давно отброшен правительствами всех европейских государств; всех без исключения; даже и турецкое правительство отказалось от попыток доставлять своему народу что-нибудь хорошее насилием над ним; даже и оно теперь знает, что насильственные меры не улучшают, а только перьяют жизнь того народа, к национальному составу которого принадлежит оно.

Те ученые, которые желают, чтобы правительство какой-нибудь цивилизованной страны принимало насильственные меры для преобразования жизни своего народа, люди менее просвещенных понятий, чем правители турецкого государства.

Французы ль мы или немцы, русские ль или испанцы, шведы ль или греки, мы имеем право думать о своем народе, что он менее невежествен, нежели турецкий; потому имеем право требовать от ученых нашей национальности, чтоб они не отказывали своему народу в том уважении, какое оказывают своему народу турецкие паши.

Некоторые из ученых, стыдящихся требовать насилий над жизнью своего народа, не считают постыдным говорить, что правительство цивилизованной нации имеет обязанность принимать насильственные меры для улучшения обычаев подвластных ему нецивилизованных иноплеменников.

Власть над чужими землями приобретается и поддерживается военной силой. Таким образом, вопрос о правах правительства цивилизованных наций над нецивилизованными племенами сводится к вопросу о том, в каких случаях разум и совесть могут оправдывать завоевание. Все эти случаи подходят под понятие самообороны. Ни один оседлый народ не имеет таких обычаев, которые делали бы для какого-нибудь другого народа необходимой мерой самообороны завоевание его. Каждый оседлый народ ведет мирный образ жизни, добывает себе пропитание честным, спокойным трудом. Военные столкновения между оседлыми народами возникают не из основных правил их жизни, а только из недоразумений или порывов страстей. Если оседлый народ имеет такое превосходство силы над другим тоже оседлым народом, что может покорить его своему владычеству, то ясно само собою, что он имеет силу, более нежели достаточную для отражения нападений этого народа. Потому завоевание оседлого народа никогда не может быть признано необходимостью для самообороны народа, покоряющего себе его. Интересы каждого оседлого народа требуют спокойствия. Если народ более сильный заботится соблюдать справедливость относительно оседлого соседа менее сильного, то очень редко будет подвергаться нападениям от него. Нападение слабого должно кончиться неудачей, по превосходству силы обороняющегося. Если сильный, отразив нападение слабого, заключит с ним мир на справедливых условиях, не злоупотребит своей победой, то побежденный надолго утратит желание возобновить войну. Таким образом, более сильный народ всегда имеет возможность устроить свои отношения к менее сильному оседлому соседу так, что преобладающий характер их будет мирный. Завоевание оседлого народа всегда нарушение справедливости; а нарушение справедливости никогда не может быть полезным для подвергающихся ему, всегда наносит им вред. — Итак, покорение оседлого народа, никогда не бывая необходимостью самообороны покоряющего, никогда не может иметь оправдания себе. — Иное дело — отношения оседлых народов кномадам\*. Они могут быть таковы, что поко-

\* Кочевникам. — Ред.

рение соседнего кочевого племени необходимая мера самообороны оседлого народа. Некоторые номады миролюбивы; покорение их никогда не может быть надобностью. Но многие номады имеют принципом своего быта грабеж соседей. Покорение таких номадов может быть делом необходимости, и в таких случаях оправдывается разумом и совестью. Спрашивается: имеют ли цивилизованные завоеватели право принуждать завоеванных номадов к перемене их обычаев? — Имеют, насколько это необходимо для достижения той цели, которой оправдывается завоевание, то есть для прекращения разбойничества. Покоренные дикари разбойничали. Завоеватель не только имеет право, имеет обязанность запретить им это. Но когда он воспрещает им разбой, о чем тут идет дело? О том ли, чтоб улучшить нравы дикарей? — Нет; улучшение их нравов может быть (и часто бывает) результатом прекращения разбоев, но мотивом запрещения разбоев служит надобность цивилизованного народа, а не забота о благе разбойничавших дикарей. Потребность цивилизованных завоевателей в безопасности для своего мирного труда возлагает на их правительство обязанность прекратить разбойничество покоренных дикарей. Полезно ль это для дикарей или нет, все равно. Это может стать полезным для них; но не для их пользы делается это, а для пользы их завоевателей. Правительство цивилизованного народа ловит и наказывает в своей земле разбойников и воров, принадлежащих к одной с ним национальности; для чего оно делает это? Для пользы ль этих разбойников и воров? Нет, для пользы мирного, честного населения своей земли; нация находит надобным для себя, чтоб они были ловимы и наказываемы, и возлагает на правительство обязанность исполнять это. Поимкой и наказанием грабителей ограничивались до недавнего времени отношения правительства к ним и желания общества относительно их даже у передовых наций. Теперь просвещенное общество считает своей надобностью заботиться об улучшении правил жизни пойманных и наказанных грабителей и воров. Правительства цивилизованных наций стараются исполнить эту добрую и разумную мысль просвещенных классов, и когда дело ведется хорошо, то многие из наказанных грабителей и воров становятся людьми трудолюбивыми, честными. Но какими способами достигается этот результат? Тем, что администрация облегчает судьбу наказываемых, доставляет им средства трудиться с выгодой для них и хорошие, благородные развлечения во время их тюремной жизни, сокращает срок их неволи в награду за исправление. Итак, чем же улучшаются эти люди? Мерами кротости и заботливости, смягчающими их наказания, возбуждением в них расположения к хорошим правилам жизни, а не насилем, не наказаниями. Лишение свободы само по себе раздражает людей, портит их, развивает в них низкие и злые склонности; тем еще хуже действуют наказания более суровые, чем простое заключение в темницу. Точно так же, отняв у разбойнического племени

независимость для избавления своей земли от его грабежей, правительство цивилизованного народа может заботиться о доставлении покоренным дикарям сведений о хорошем и средств для его приобретения; это будет не насилие, а дело доброжелательства; при хорошем исполнении его нравы дикарей будут смягчаться, и по мере их улучшения завоеватели могут облегчать тяготу своей власти над побежденными; эта благородная политика будет сильно содействовать улучшению жизни покоренных. Таким образом, когда завоеванное племя получает что-нибудь хорошее от завоевания, то все хорошие результаты производятся не насилием, а кротостью и уменьшением насилия.

О людях нашего времени достоверно известно, что насилие ухудшает их, что кроткое, доброжелательное обращение с ними улучшает нравственные их качества. Так ли было и в прежние времена? — Естествознание отвечает, что так было всегда не только в жизни людей, но и раньше того, в жизни предков людей. Та часть зоологии, которая занимается исследованием умственной и нравственной жизни существ, имеющих теплую кровь, доказала, что все без исключения классы, семейства и виды их раздражаются, нравственно портятся от насилий над ними, улучшаются в своих нравственных качествах при доброжелательном, заботливом и кротком обращении с ними. Ставить вопрос шире, чем обо всех живых существах с теплой кровью, нет надобности при исследовании законов человеческой жизни; и, кажется, еще не собраны материалы для разъяснения форм и законов нравственной жизни некоторых из позвоночных, имеющих холодную кровь, и большинства беспозвоночных живых существ. Но относительно существ с теплой кровью естествознание вполне разъяснило, что общий закон нравственной жизни всех их состоит в ухудшении от всякой жестокости, всякого насилия над ними, в улучшении их нравственных качеств при добром обращении с ними.

Но как же думать о достоверности множества исторических свидетельств, говорящих, что насилие улучшало нравы дикарей, покоренных цивилизованными нациями? — Точно так же, как о достоверности всяких других рассказов или рассуждений, противоречащих законам природы. Для историка, знакомого с законами человеческой природы, не может быть сомнения, что всякие рассказы подобного рода — вздорные сказки; задача его относительно их состоит в том, чтобы разъяснить, как возникли они, найти источники ошибок или мотивы преднамеренной лжи, которыми они порождены.

Теперь признано, что все живые существа, способные ощущать впечатления, производимые на них внешними предметами, и чувствовать боль или приятное состояние своего организма, стремятся приспособить обстановку своей жизни к своим потребностям, за-

нять в ней наиболее приятное для себя положение и с этой целью стараются как можно лучше узнать ее. Относительно всех тех существ, у которых органы слуха и зрения устроены более или менее сходно с нашими, то есть, между прочим, относительно всех млекопитающих, известно теперь, что, кроме желания изучать обстановку своей жизни с практической целью, для лучшего удовлетворения своих потребностей, они имеют и теоретическую любознательность: им приятно смотреть на некоторые предметы, слушать некоторые звуки. Они имеют склонность смотреть и слушать собственно потому, что это приятно им, независимо ни от какой выгоды в материальном смысле слова. После того как зоология установила эти факты относительно всех млекопитающих, нет возможности отрицать в человеке врожденное стремление к улучшению своей жизни и врожденную любознательность. Эти качества, которых не может человек утратить, пока сохраняется здоровая деятельность его нервной системы, это первые две из основных сил, производящих прогресс.

Есть живые существа, враждебные к одинаковым с ними. Так говорят о пауках. Но между теми существами, которые по зоологической классификации причисляются к высшим отделам класса млекопитающих, нет ни одного вида, подходящего под разряд существ, враждебных подобным себе. Все они, напротив того, имеют доброжелательное расположение к существам одного с ними вида. Некоторые из них ведут одинокую жизнь, как, например, волки; но это лишь необходимость, налагаемая на них трудностью добывать пищу; так охотники расходятся далеко один от другого в тех местностях, где мало добычи для них; всем известно, что волки при всякой возможности соединяются в маленькие общества: им приятно быть вместе. Те существа, которые по форме зубов и устройству желудка менее далеки от человека, чем волк, и питаются или исключительно, или преимущественно растительными веществами, ведут общественную жизнь.

О половой привязанности нет надобности говорить много: все знают, что она в высших отделах млекопитающих очень сильна. А когда всем нам известно, что лев и львица нежно любят друг друга, что тигр ходит добывать пищу для своей подруги, кормящей дитя, то нелепо было бы сомневаться, что половое чувство у людей располагает мужчину и женщину к взаимному доброжелательству. У млекопитающих сильно развита материнская любовь к детям; без этого чувства не мог бы существовать ни один вид их, потому что дети каждого очень долго живут только благодаря заботливости матери, кормящей их грудью. У каждого вида млекопитающих мать очень сильно любит детей в продолжение всего того времени, пока они не могут обходиться без ее забот. Потому нет возможности сомневаться, что в человеческом роде мать имеет природную сильную любовь к своим детям и что ее любовь к дитяти сохраняет свою силу на все те годы жизни ре-

бенка, в которые он не способен сам прокормить себя и сам защищаться от врагов. А этот период у человека очень продолжителен. Едва ли в какой бы то ни было местности, самой благоприятной для легкого добывания пищи человеком и наиболее безопасной для него, может не умереть с голода пятилетний ребенок, оставшийся совершенно без попечения старших. Вообще говоря, период забот матерей о детях в человеческом роде длится гораздо больше пяти лет. Но если мы возьмем этот срок времени, очевидно слишком короткий, то все-таки надобно будет признать, что он имеет продолжительность, более чем достаточную для возникновения привычки матери и ребенка жить вместе.

Теперь говорят, что семейный быт не первоначальная форма человеческой жизни, что некогда люди жили многолюдными нераздельными группами, в которых не существовало никаких прочных индивидуальных отношений между мужчинами и женщинами. Нам здесь нет надобности разбирать, следует ли считать достоверной эту теорию в том виде, в каком она обыкновенно излагается. Если и допустить, что первоначально женщины и мужчины, жившие вместе, не различали никаких отношений, кроме признаваемых в своем стаде антилопами, этим нисколько не изменяются изложенные нами понятия о том, какие силы следует признавать двигателями прогресса в человеческой жизни. Пусть та женщина, которая родила малютку, не была признаваема имеющей более близкие отношения к нему, чем другие женщины того же племенного общества; допустим даже такое предположение, хотя оно противоречит факту, существующему у всех млекопитающих. Корова знает своего теленка и любит кормить своим молоком этого теленка. То же самое у всех млекопитающих. Наперекор этому факту допустим, что было время, когда женщина не знала, какое из детей ее племенной группы рождено ею, или, по крайней мере, не считала себя обязанной и не имела влечения кормить грудью именно того ребенка, который рожден ею. Все-таки дети людей того времени не могли оставаться живы иначе, как будучи питаемы грудью, и если род человеческий не исчез, то, значит, малютки тех времен были кормимы грудью каких-нибудь женщин, своих ли матерей, или других женщин; и все-таки группа детей этого племенного общества была предметом заботливости группы женщин, имевших в груди молоко, вырастала только потому, что была предметом заботливости этой группы.

Мы делаем приверженцам теории, о которой говорим, все уступки, каких могут они желать; мы готовы даже признать существования, уже имевшие человеческую организацию, стоявшими в умственном и нравственном отношении ниже овец, лишь бы только были приведены факты, делающие вероятным такое предположение. Но должно сказать, что для этого понадобилось бы переделать физиологию нервной системы и доказать, что существо, имевшее очертания тела, сходные с нынешними человеческими, могло

иметь головной мозг менее высоко организованный, чем у овцы. Пока этого не сделано, пока физиология будет говорить то, что ныне говорит о соотношениях между устройством человекоподобного головного мозга с человекоподобными формами тела, должно будет думать, как велит думать теперь физиология, что те существа, которые были людьми, превосходили овец умом; должно полагать также, что дети этих существ нуждались в материнских заботах гораздо долее, чем ягнята, и остается несомненной истиной, что существование человеческого рода обуславливалось и тогда, как теперь, любовью матерей к детям. Допустим, наперекор сравнительной анатомии, даже то, что существа, имевшие человеческую форму тела, находились когда-нибудь на такой ступени умственного и нравственного развития, которая должна быть названа более низкой, чем степень развития не только овец, но и всяких других существ, имеющих теплую кровь. Пусть люди тогда не имели никаких добрых чувств, все-таки они жили какими-нибудь группами, хотя бы состоящими каждая только из одной женщины и ее детей того возраста, в котором они еще не умеют сами добывать себе пищу. Пусть эта мать несколько не любила детей; пусть она давала новорожденному сосать ее грудь только по инстинктивному ее стремлению избавиться от стеснительного ощущения, производимого избытком накопившегося молока; и пусть, когда она переставала кормить ребенка своим молоком, она не делилась с ним своей пищей, пожирала сколько могла, отгоняя ребенка, и он питался только остатками, которых не могла она съесть сама; все-таки ее дети довольно долго жили вместе с нею; они видели, что она делает; пусть она не заботилась учить их, хоть об этом заботится не только собака или кошка, но и корова; они все-таки научались примером ее, если и не брала она на себя труда учить их.

Было, разумеется, не так. С той поры, как живут на свете существа человеческих форм тела, было у них некоторое влечение к взаимному доброжелательству. Это влечение, независимое ни от каких половых или родственных отношений, производило тот факт, что взрослые мужчины находили приятным разговаривать между собою; если их язык еще не был человеческим, то умели ж они выражать звуками голоса хоть те мысли и чувства, которые выражаются в беседах волков, лошадей или овец между собою, и умели ж они пояснять звуки своего голоса какими-нибудь движениями, как умеют все млекопитающие. Но пусть вовсе не умели они выражать своих ощущений и обмениваться мыслями, как умеют все существа, дышащие легкими, имеющие дыхательное горло с голосовыми связками; все-таки этим мужчинам было приятно сидеть вместе, смотреть друг на друга. Точно так же было приятно сидеть вместе женщинам. Половое влечение должно было производить в мужчине и женщине хоть такое же взаимное расположение, какое существует между тигром и тигрицей. Связь матери с ребенком была не менее нежна и более продолжительна,

чем у тигрицы или овцы с их детьми, и не могло не быть того, чтобы мать не учила свое дитя, чтобы мужчины не были защитниками женщин и детей от опасностей. Добрые чувства, существовавшие между людьми с тех самых пор, как возникли существа, имеющие человеческую форму тела, помогали врожденному стремлению каждого из них улучшать свою жизнь и удовлетворять своей любознательности. Младшие по природному влечению следовали примеру старших; дети учились, молодые люди приобретали опытность, наблюдая действия более опытных, стараясь усвоить себе их житейские знания. Эти влечения существуют у всех млекопитающих, потому невозможно сомневаться, что они с самого начала существования людей принадлежали к основным свойствам человеческой природы.

Итак, мы имеем два разряда сил, производящих улучшение человеческой жизни; один из них образует стремление человека заботиться о хорошем удовлетворении потребностей своего организма и желание приобретать сведения независимо от практической полезности их, собственно потому, что приобретение их приятно; другой разряд составляют те отношения между людьми, которые возникают из взаимного их доброжелательства; это разные виды приятности и пользы, получаемой людьми от жизни в одной группе, и две более сильные формы взаимного доброжелательства, производимые не только потребностями нервной системы, как взаимное доброжелательство между посторонними друг другу мужчинами или посторонними одна другой женщинами, но принадлежащие к числу так называемых физиологических функций организма: одна из этих форм доброжелательства — половое влечение и возникающая из него любовь между мужчиной и женщиной, другая форма его — материнская любовь и влечение мужчины заботиться о женщине, с которой сожительствует он, и о своих детях от нее.

Эти силы действуют и в жизни других млекопитающих. Всматриваясь в характер их влияния, мы должны признать, что собственно ими было производимо улучшение тех организмов, которые в их нынешних формах мы называем млекопитающими существами.

У человека, благодаря каким-то особенностям истории его предков, головной мозг приобрел такое развитие, какого не достиг ни у одного из существ, подобных ему формами тела. В чем состояли эти особенности истории, которыми произведено более высокое развитие умственных сил у предков человека? Общий характер их ясно определяется нашими физиологическими знаниями. О потребностях мы можем составлять догадки очень правдоподобные; но едва ли найдены исторические факты, которые давали бы достоверным чертам ответа ясность более той, какая дается им физиологией; она показывает, что улучшение организмов производится благоприятными для их жизни обстоятельствами. На основании этого мы с достоверностью можем сказать, что если предки чело-

века поднялись в умственном отношении выше других существ, с которыми стояли некогда на одном уровне, то история их должна была иметь характер более благоприятный для их органического развития, чем история существ, не поднявшихся так высоко над прежним общим уровнем. Это физиологическая истина. Но в чем именно состояли обстоятельства, благоприятствовавшие физиологическому развитию предков людей, мы можем только догадываться. Очень правдоподобно, что предки людей по какому-нибудь счастливому обстоятельству приобрели больше безопасности от врагов, чем какую имели другие существа, сходные или одинаковые с ними. Это могло быть переселение в какую-нибудь местность более прежней удобную для спокойной жизни, имевшую много хороших приютов вроде пещер, куда не могли проникать ни ядовитые змеи, ни большие хищные животные; или переселение в обширный лес, свободный от этих врагов или имевший много таких деревьев, жить на которых было удобно и безопасно; или, быть может, преимущество местности состояло в том, что она была обильней хорошей пищей, чем те местности, в которых остались или куда принуждены были переселиться существа, начавшие после того отставать от предков людей в своем умственном развитии. Эти и тому подобные догадки сообразны с законами физиологического развития, потому правдоподобны; какие из них соответствуют действительно происходившим фактам, мы еще не имеем сведений.

Но каким бы то ни было путем предки людей, по влиянию каких-то благоприятных обстоятельств своей жизни, приобрели такое высокое умственное развитие, что сделались людьми. Только с этого времени начинается та история их жизни, относительно которой возникают вопросы не общего физиологического содержания, а специально относящегося к человеческой жизни.

Эти существа далеко превосходили умом все те виды млекопитающих, которые по своей физической силе были, подобно им, довольно безопасны от врагов. Собственно превосходством ума и объясняется весь дальнейший прогресс человеческой жизни. Само собою понятно, что существа несравненно более умные, чем буйвол или верблюд, несравненно легче преодолевали препятствия к улучшению своей жизни. Буйвол не умеет придумать, как ему устроить для своего сна полную безопасность от большого хищного зверя или от ядовитой змеи; дикари, находящиеся на самой низкой фактически известной нам ступени человеческого развития, знают эти средства обеспечить себе безопасность сна, и мы видим, что простейшие из этих средств без труда могли быть найдены людьми, даже менее развитыми в умственном отношении, чем низшие из нынешних дикарей. Говорят, и по всей вероятности справедливо, что умение взять в руку камень или толстую палку и бить этим оружием по врагу увеличило безопасность людей, дало им возможность улучшить свою материальную жизнь и, благодаря ее

улучшению, получить большее развитие умственных способностей. Мы видим, что умнейшие из других млекопитающих не достигли искусства ловко пользоваться этим способом защиты от сильных врагов. Говорят, что orang-утанг и горилла хорошо дерутся камнями или палками, но в этих оценках их искусства слово «хорошо» употребляется не по сравнению с человеческой ловкостью в подобной обороне, а лишь в смысле сравнения с очень плохим умением медведя бросать во врага глыбами земли. Если б orang-утанг или горилла умели драться палками не то, что с таким же искусством, как дикари, а хотя бы не совсем плохо по сравнению с дикарями, они выгнали бы людей из тех земель, в климате которых могут жить, не было бы ни одного человека ни в той полосе Африки, где живет горилла, ни на Борнео. Изгнание людей неотвратимо произошло бы для завладения продуктами их земледельческого труда.

Какими именно путями люди, находившиеся на степени развития более низкой, чем грубейшие из нынешних дикарей, поднялись до их сравнительно высокого умственного развития, мы опять не имеем положительных сведений. Все серьезные ученые признали за основное правило научных объяснений тот закон логики, что когда факт, о происхождении которого нет у нас прямых сведений, объясняется действием сил, производящих одинаковые с ним факты на наших глазах, то мы не имеем права предполагать его произведенным какими-нибудь другими силами, должны считать его результатом действия тех сил, которыми теперь производятся одинаковые с ним факты. Мы положительно знаем, что улучшение организма людей производится благоприятными обстоятельствами жизни их, что с улучшением организации головного мозга улучшаются умственные силы человека, что нравственный и материальный прогресс — результат улучшения умственных и нравственных сил; эти достоверные знания о ходе прогресса в наше время и в прежние эпохи, хорошо известные нам, совершенно достаточны для объяснения прогресса человеческой жизни в те эпохи, об истории которых мы не имеем прямых сведений.

Берем для примера три громадные улучшения человеческой жизни: приобретение искусства пользоваться огнем и поддерживать или зажигать его, приручение животных и открытие искусства возделывать землю для производства хлебных растений. Для того, чтобы можно было сделать эти житейские открытия, необходимы были какие-нибудь счастливые обстоятельства, давшие возможность сделать их.

Теперь предполагают, что люди, не знавшие употребления огня, жили не только в местностях, где целый год без перерыва длится достаточная для человека теплота атмосферы, но и в землях, имеющих холодное время года. Если было так, то племена или маленькие группы людей, жившие в климатах, имеющих холодные месяцы, более страдали от холода, чем жившие близко к экватору; но следует ли предполагать, что именно у людей, более

страдавших от холода, было сделано открытие искусства охранять себя от стужи разведением огня? Нет, это соображение справедливо считается совершенно излишней гипотезой. Люди под экватором тоже нуждались в огне. Ночи более прохладные, чем приятно для людей, привыкших жить в очень теплом воздухе, бывают и под экватором. Надобность согреть себя была и у людей экваториального пояса так велика, что искусство разводить огонь не могло не казаться драгоценным улучшением жизни и для них; следовательно, дело объясняется не разностью степеней пользы от огня для жителей разных климатов, а только тем, в какой земле произошли факты, которыми воспользовались люди для открытия способов поддерживать и зажигать огонь. Человек, два дня не евший ничего, с радостью схватит и станет есть попавшуюся ему пищу; но и человек, не евший ничего только одни сутки, сделает при такой же находке то же самое; голод одного из них сильнее, но и у другого он настолько силен, что находка пищи будет большой радостью для него; потому нелепо было бы сказать: «людям, голодавшим в продолжение двух суток, приятна возможность поесть»; ограничение содержания мысли определением надобности в двухсуточном голоде — искажает физиологическую истину; мы разимся правильно лишь в том случае, когда отбросим это излишнее определение и скажем вообще: «людям проголодавшим приятно возможность поесть». Сколько именно времени не ел проголодавшийся человек, двенадцать ли часов, или целые сутки, или двое суток, — не относится к делу. Разницы этих сроков имеют значение по другим физиологическим вопросам, но не по вопросу о приятности еды для проголодавшегося. Если человек часто голодал по двое суток, то он стал физически слаб; этого вредного влияния не имеют на обыкновенных здоровых людей интервалы между едой, длящиеся только по 12 часов. Правда, к концу такого интервала физическая сила человека значительно уменьшается, но никакого расстройства организма не происходит, и человек, проводящий без пищи в каждые сутки по 12 часов, остается через год такой жизни так же силен, как был вначале, а год, состоящий из двухсуточных интервалов между едой, расслабит самого крепкого человека; и если уж применять понятия о разнице этих двух видов голодания к вопросу о способности находить средства для удовлетворения голода, то следует сказать: чем продолжительнее периоды между удовлетворением голода, тем меньше имеет человек способности приобретать себе пищу; это ясно, потому что он слабее физически, меньше способен работать или если пища приобретается не работой, а хождением за добычей, собиранием каких-нибудь дикорастущих фруктов, ягод, корней, то не может столько ходить для ее приобретения, как сильный человек. Применим такое же соображение к вопросу об открытии употребления огня для защиты тела от холода. Предполагают, что обстоятельствами, которые повели к этому открытию, были какие-нибудь факты горения,

производимые самой природой. Человек увидел, что от молнии вспыхнуло дерево; горение еще продолжалось, когда гроза миновала и когда человек успокоился; подошедши к горящему дереву, он почувствовал теплоту, приятную для него при понизившейся от грозы температуре; присматриваясь, он заметил, что соседние с понизившимся до земли огнем сухие ветки хвороста загораются, и т. д. В этом роде обыкновенно рассказывается история ряда наблюдений, кончающегося открытием способа долго сохранять раскаленные угли под пеплом и зажигать новый огонь при их помощи. Она не имеет положительной достоверности; дело могло происходить как-нибудь иначе; но следует назвать ее очень правдоподобной. Хорошо, сообразим же, в какой земле было больше шансов произвести этот ряд наблюдений. Под экватором дикарь проводит на открытом воздухе круглый год; в стране, где он сильно страдает от холода значительную часть года, он старается проводить ее в каком-нибудь закрытом от ветра приюте; эта часть года пропадает для наблюдений, предполагаемых правдоподобнейшим рассказом о вероятном способе открытия искусства зажигать огонь; соответственно пропорции непригодного для этих наблюдений числа дней в году шансы открытия искусства пользоваться огнем обращаются против предположения, что оно было сделано вдалеке от экватора, свидетельствуют в пользу мысли, что искусство сохранения и зажигания огня было открыто людьми, жившими в поясе вечно высокой температуры.

Справедливо говорят, что приручение животных было очень важным улучшением человеческой жизни. Рассудим же относительно определенных частных фактов этого дела, при каких обстоятельствах могли произойти они. Начнем соображения с приручения того же животного, потомки которого называются теперь нашими европейскими домашними собаками. Кто были предки этих собак, вопрос, кажется, еще не разъясненный с полной достоверностью, но несомненно, что это был какой-нибудь вид животных, подобных нынешним волку, шакалу или динго. Спрашивается теперь, какие качества характера должно предполагать в этой породе хищных животных, более враждебные человеку или менее враждебные, чем у наиболее неприязненных человеку пород волка. Каждый скажет, что чем менее враждебна была человеку эта порода, тем легче поддавалась прикармливанию и ласке, тем больше был шанс успеха в ее приручении. Таким образом, все мы согласны в том, что сравнительная мягкость характера животного, способного помогать человеку в ловле добычи, в защите от других хищных животных, в охранении приобретенного имущества от других людей, была обстоятельством, облегчившим этот важный шаг к улучшению человеческой жизни.

Переходим к земледелию. В какой местности началось оно: в такой ли, где находились растения, в диком состоянии дававшие зерно, пригодное человеку для еды, или в такой, где не было этих

растений? И какую почву стали первые земледельцы возделывать для искусственного размножения этих растений, — ту, которая казалась им плодородна, или бесплодную? Все мы считаем вероятным, что земледелие началось в какой-нибудь стране, где в диком состоянии росло много тех злаков, которые теперь, улучшившись от возделывания, стали пшеницей, ячменем или рожью, что для первых опытов посева их были выбраны клоки земли, подобные тем, на которых они хорошо росли в диком состоянии; таким образом, удобства для делания первых попыток искусственного размножения хлебных растений, были, по мнению всех нас, обстоятельствами, повывсившими людей из кочевого быта в оседлый, земледельческий.

Соображения, изложенные нами, вероятно, не покажутся никому содержащими в себе что-нибудь новое; вероятно, каждый читатель скажет, что они давно известны ему и что он всегда держался их с той поры, как стал по своим летам способен интересоваться бытовыми вопросами и читать серьезные книги. Эти общеизвестные и общепринятые решения вопросов о начале употребления огня, приручения животных и возделывания земли изложены нами именно для того, чтобы напомнить, как рассуждают все об обстоятельствах, производящих прогресс. Когда мы судим о них по правилам здравого смысла и по выводам из нашего житейского опыта, мы все находим, что успехи цивилизации производятся фактами, благоприятными для человеческой жизни.

Так велят думать рассудок и житейский опыт.

## ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ «ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ» Г. ВЕБЕРА, Т. XI

Мы сделали два приложения к переводу этого тома.

Очерк истории России от начала царствования Иоанна Грозного до конца царствования Михаила Федоровича, находящийся в XI томе Вебера, чрезмерно краток. Мы заменили его рассказом, заимствованным из «Истории России в жизнеописаниях главнейших ее деятелей» Костомарова. Немецкие ученые считают Костомарова замечательнейшим из современных русских историков; их мнение справедливо. Костомаров был человек такой обширной учености, такого ума и так любил истину, что труды его имеют очень высокое научное достоинство. Его понятия о деятелях и событиях русской истории почти всегда или совпадают с истиной, или близки к ней. Рассказ, извлеченный нами из его «Русской истории», дает верное понятие о лицах и фактах, выставленных в фантастическом виде теми русскими историками, теории которых Костомаров отвергает молча, по своему нерасположению к полемике. Должно желать, чтобы молодые люди, готовящиеся разра-

ботывать русскую историю, внимательно изучали мнения Костомарова.

Другое приложение к нашему переводу этого тома — рассказ о битве при Рокруа, переведенный из книги Шерюэля «*Histoire de France pendant la minorité de Louis XIV*» \* 25. — Битва при Рокруа имеет очень важное историческое значение: собственно с нее начинается та слава, которой пользовалась французская армия во второй половине XVII века. До нее испанская армия считалась лучшей между армиями великих держав. Шведы были сами по себе слабы; военное могущество Швеции возникло и несколько времени поддерживалось только благодаря союзу с Францией и немецкими лютеранскими государями. Без этого союза Швеция могла быть страшна только соседним государствам, имевшим или малочисленные, или плохие войска. Англичане, французы, австрийцы всегда считали ее государством второстепенного значения. По окончании тридцатилетней войны она утратила для них важность, какую имела в эту войну благодаря тому, что французское правительство давало шведскому деньги на вербовку и содержание наемников, а некоторые из немецких предводителей наемников поступили в шведскую службу. Но испанская армия была страшна французам до бегства при Рокруа. Только блестящая победа, одержанная ими в этом сражении, дала их правительству ту уверенность в своем военном могуществе, которая приобрела при Людовике XIV такое сильное влияние на ход истории Европы.

## ОЧЕРК НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

### 5

#### Климаты. Астрономический закон распределения солнечной теплоты

Теперь признано, что все люди происходят от одних и тех же предков. Потому всякие объяснения различий между этнографическими группами людей, различиями их природы, должны быть отвергаемы, как не соответствующие нынешнему состоянию науки. Природою существ, произошедших от одних предков, объясняется только одинаковое в этих существах, по одинаковости их природы. Различие между ними не может быть объясняемо ничем, кроме различия влияний, под которыми шла их жизнь.

Влияния, под которыми идет жизнь людей, делятся на два

\* История Франции в детские годы жизни Людовика XIV. — Ред.

разряда: к одному принадлежат влияния внешней природы, к другому — влияния отношений между самими людьми.

Влияния внешней природы подразделяются на два класса: один составляют влияния неорганической природы, другой — влияния органической.

Наибольшая часть влияний неорганической природы издавна соединена в понятие о влиянии климата. Мы должны рассмотреть важнейшие из элементов этого понятия. В настоящем отделе нашей работы мы займемся изложением астрономического закона, которым определяются различия в количествах солнечной теплоты на разных параллельных кругах и в разные времена года. На этом законе основаны научные понятия о климатах. Климаты, в которых живут теперь люди, очень неодинаковы по температуре. Первобытною родиною людей была страна экваториального климата. Ни в каком ином не могли возникнуть люди; и, возникнув в нем, не могли существовать ни в каком ином, пока не имели одежды и не знали искусства зажигать огонь: всякие попытки их переселиться за пределы непрерывности теплой температуры должны были тогда быстро кончаться или возвращением в экваториальный климат, или погибелью от холода. Научившись делать себе одежду, устраивать жилища, отоплять их, люди приобрели возможность жить в климатах, имеющих холодные ночи в часть года, соответствующую тому времени, которое называется зимою в климатах, где падает снег; возможно стало людям жить и в климатах, имеющих зиму; и не только в таких, где она коротка и не очень сурова, но и в таких, где она очень продолжительна и мороз ее очень суров. Люди цивилизованных наций ужасаются при мысли о действительности человеческой жизни в тех странах, где морозы не дают роста не только деревьям, даже траве. Но и в землях, где хоть на несколько дней в году замерзает вода, жизнь людей определяется температурными влияниями, очень различными от тех, какие принадлежат климату первобытной родины их.

Кроме температурных, есть и другие различия между климатами, важные для человеческой жизни. Но основной элемент климата — температура его. Классификация климатических поясов идет по градации температур.

Источник теплоты на земном шаре — лучи солнца. Количество теплоты, идущей от солнца на атмосферу местности в продолжение дня, или, как мы будем называть для краткости, дневное количество солнечной теплоты, определяется высотой пути солнца в этот день и продолжительностью дня.

На линии земного экватора все дни года имеют одинаковую продолжительность; но высота пути солнца изменяется и там, как везде, с каждым днем. Начнем обзор этих изменений высоты пути солнца под линией небесного экватора с того равноденствия, которое соответствует астрономическому началу весны в нашем северном полушарии.

Круги пути солнца стоят под экватором вертикально \*. В эпоху весеннего равноденствия дневной путь солнца совпадает с кругом небесного экватора. А этот круг над земным экватором проходит точкой своего верхнего перегиба чрез зенит. Потому в эпоху весеннего равноденствия центр диска солнца, или, как говорится для краткости, солнца, проходит в полдень над линией земного экватора через зенит. Высоты дневного пути солнца измеряются высотой солнца в полдень. Потому путь солнца над земным экватором имеет в эпоху весеннего равноденствия наибольшую высоту. После того путь солнца передвигается к северу; солнце проходит в полдень мимо зенита с северной стороны; расстояние это увеличивается с каждым днем до эпохи летнего солнцестояния, когда путь солнца достигает предела своего уклонения на север. Этот предел находится теперь в расстоянии  $23^{\circ}27'$  от зенита. Чем дальше от зенита проходит солнце в полдень, тем меньше высота его дневного пути. В эпоху нашего летнего солнцестояния полуденная высота солнца над земным экватором равняется высоте зенита за вычетом  $23^{\circ}27'$  уклонения от зенита, то есть составляет  $66^{\circ}33'$ . Достигнув этого предела, путь солнца начинает передвижение к югу, полуденное расстояние солнца от зенита с каждым днем уменьшается, высота пути солнца растет, и в эпоху нашего осеннего равноденствия снова достигает наибольшей величины; путь солнца снова совпадает тогда с кругом небесного экватора, и солнце в полдень проходит над линией земного экватора через зенит. После того солнце, продолжая свое передвижение к югу, снова начинает отделяться от небесного экватора, проходит в полдень над линией земного экватора все дальше на юг от зенита, путь солнца все поднимается, пока, в эпоху нашего зимнего солнцестояния, достигнет предела своего южного уклонения; полуденная точка пути солнца на этом пределе южного его уклонения находится также в расстоянии  $23^{\circ}27'$  от верхней точки небесного экватора, и высота пути солнца над земным экватором в эпоху нашего зимнего солнцестояния равняется в эту эпоху так же, как в эпоху нашего летнего солнцестояния,  $66^{\circ}33'$ . После того путь солнца начинает передвигаться на север, приближается с каждым днем к небесному экватору, полуденная высота солнца растет до эпохи нашего весеннего равноденствия.

Итак, путь солнца над земным экватором два раза в год достигает наибольшей высоты и два раза — наименьшей; наибольшие

---

\* Собственно говоря, суточные круговые обороты солнца не круги, а круговые извивы одной непрерывной спиральной линии; но расстояние между извивами ее незначительно по сравнению с их диаметрами; потому для простоты можно, не делая большой погрешности, принимать каждый круговой изгиб за особый замкнутый круг. Так обыкновенно и делают при вычислении дневных количеств солнечной теплоты. Мы в настоящем случае только следуем примеру астрономов, говоря о кругах дневного пути солнца, а не о круговых извивах непрерывной спиральной линии.

совпадают с эпохами равноденствий, наименьшие — с эпохами солнцестояний. Обе наибольшие равны между собою; и обе наименьшие тоже равны между собою. Таким образом, та половина года, которая соответствует по времени нашему зимнему полугодю, одинакова с половиной, соответствующей нашему летнему полугодю.

Таковы существенные черты хода изменений дневного пути солнца над линией земного экватора.

Сделаем теперь обзор соответствующих изменений пути солнца над линией нашего северного тропика, или, как будем говорить для краткости, под тропиком.

На линии земного экватора круги дневного пути солнца вертикальны; над земным полюсом они горизонтальны; на всех линиях географической широты, от линии земного экватора до полюса, круги пути солнца имеют наклонное положение. Они наклонены в сторону экватора. На каждой линии стороны между экватором и полюсом угол их наклона остается во все продолжение года неизменным; величина его равна величине дуги расстояния этой линии широты от экватора. Линии тропиков отстоят от линии экватора на  $23^{\circ}27'$ . Итак, под нашим, северным, тропиком круги пути солнца имеют наклонение в сторону юга, и величина их наклона равна  $23^{\circ}27'$ .

В эпоху весеннего равноденствия путь солнца совпадает с линией небесного экватора. Точка верхнего перегиба небесного экватора находится над линией земного тропика в расстоянии  $23^{\circ}27'$  от зенита. Итак, в эпоху весеннего равноденствия полуденная высота пути солнца над линией земного северного тропика равна  $66^{\circ}33'$ ; это такая же высота, какую на земном экваторе солнце имеет в полдень в эпоху летнего солнцестояния. Итак, высота пути солнца в весеннее равноденствие на линии земного тропика равна высоте его на земном экваторе в эпоху летнего солнцестояния. А продолжительность дня в эпоху равноденствия под всеми широтами до полярного круга равна неизменной продолжительности экваториального дня. При равной продолжительности дней и равной высоте пути солнца, количества дневной солнечной теплоты равны. Таким образом, количество солнечной теплоты тропического дня в эпоху весеннего равноденствия равно количеству солнечной теплоты экваториального дня в эпоху летнего солнцестояния.

После весеннего солнцестояния солнце передвигается к северу от экватора; с каждым новым днем полуденная высота его над земным тропиком приближается к зениту, то есть увеличивается; вместе с повышением пути солнца увеличивается и продолжительность тропического дня. В эпоху летнего солнцестояния передвижение солнца к северу достигает своего предела; полуденная точка его отстоит тогда на  $23^{\circ}27'$  к северу от небесного экватора, то есть совпадает с зенитом. Вместе с высотой пути солнца достигает наи-

большей величины и продолжительность тропического дня. Она в эпоху летнего солнцестояния составляет 13 часов 27 минут. После летнего солнцестояния солнце начинает передвигаться к югу; полуденная точка пути солнца с каждым днем удаляется от зенита, высота пути солнца и продолжительность дня в эту вторую половину летнего полугодия уменьшается в том же порядке, каким увеличивалась в первую половину его; и в эпоху осеннего равноденствия полуденная высота солнца снова равняется  $66^{\circ}33'$ , продолжительность дня вновь равна неизменной продолжительности экваториального дня, и количество дневной теплоты снова равно тому, какое было в эпоху весеннего равноденствия, равно количеству теплоты экваториального дня в эпоху солнцестояния.

Итак, каждый день второй половины летнего полугодия под тропиком равняется соответствующему дню первой половины. Таким образом, каждый день летней половины тропического года равняется высотой пути солнца соответствующему дню экваториального полугодия; но каждый имеет продолжительность больше экваториальной. Потому каждый день летней половины тропического года превосходит количеством теплоты солнца соответствующий ему день экваториального полугодия.

Из этого ясно, что во все продолжение летнего полугодия линия земного тропика получает от солнца количество теплоты больше того, какое получается линией земного экватора.

Но другая половина экваториального года равна первой по высотам пути солнца и по количествам солнечной теплоты, которые, при равной продолжительности дней, прямо соразмерны высотам пути солнца.

Не таково отношение второй половины года к первой под тропиком.

В эпоху осеннего равноденствия путь солнца совпадал с небесным экватором, высота этого пути была  $66^{\circ}33'$ . После того солнце, продолжая свое передвижение на юг, удаляется от экватора, высота пути его уменьшается, пока оно в эпоху зимнего солнцестояния достигнет предела своего передвижения к югу. Этот предел равен величиною северному пределу, отстоит от экватора тоже на  $23^{\circ}27'$ . Итак, в продолжение первой половины зимнего полугодия высота солнца на линии земного тропика понижается с  $66^{\circ}33'$  до  $43^{\circ}6'$ . Вместе с высотой пути солнца уменьшается и продолжительность дня. В эпоху осеннего равноденствия тропический день продолжается 12 часов; в эпоху зимнего солнцестояния продолжительность его составляет только 10 часов 33 минуты. Вторая половина зимнего полугодия одинакова с первой.

Сравним теперь размеры полугодичных и годовых изменений в дневных количествах солнечной теплоты под экватором и под тропиком, припомним, что при равной продолжительности дней

эти количества прямо пропорциональны высотам пути солнца, и заметив, что полуденная высота солнца, определяющая высоту дневного пути его, измеряется синусом того угла, до которого солнце (точнее говоря: центр диска солнца) подымается над астрономическим горизонтом в полдень астрономического времени, что синус зенита (угла  $90^\circ$ ) принимается за единицу, что синусы двух других углов — десятичные дроби и что продолжительность дня в вычислениях этого рода — астрономическая (то есть удлинение дня преломлением лучей солнца в атмосфере, не изменяющее результата, а только запутывающее счет, не вводится в вычисление).

**Пределы полугодичных и годичных изменений  
в дневных количествах солнечной теплоты**

	Под тропиком	Под экватором
Первое полугодие (летнее тропическое).		
Наибольшее дневное количество солнечной теплоты.		
Первый фактор. Высота пути солнца . . . . .	1,0000	1,0000
Второй фактор. Продолжительность дня . . . . .	13 часов 27 мин.	12 часов
Наименьшее дневное количество солнечной теплоты.		
Первый фактор. Высота пути солнца . . . . .	0,9174	0,9174
Второй фактор. Продолжительность дня . . . . .	12 часов	12 часов
Второе полугодие (зимнее тропическое).		
Наибольшее дневное количество солнечной теплоты под тропиком равно наименьшему летнего полугодия . . . . .	} Второе полугодие одинаково с первым	
Наименьшее дневное количество солнечной теплоты.		
Первый фактор. Высота пути солнца . . . . .	0,6704	
Второй фактор. Продолжительность дня . . . . .	10 часов 33 мин.	

Таким образом, в летнюю половину тропического года дневные количества солнечной теплоты, начинаясь и кончаясь величинами, равными наименьшей экваториальной, и становясь по мере удаления от равноденствий все более и более превосходящими соответствующие экваториальные величины, достигают в летнее солнцестояние такого превосходства над наибольшей экваториальной величиной, какое производится увеличением продолжительности дня с 12 часов до 13 часов 27 минут. Не будем вычислять точной величины этого избытка теплоты, потому что вычисление заняло бы слишком много места, если б изложить его простым языком; а излагать иначе мы не хотим. Пусть же будет сказано

здесь только то, что ясно и без точного вычисления: избыток наибольшего тропического дневного количества солнечной теплоты над наибольшим экваториальным должен быть довольно велик, потому что удлинение дня, производящее его, имеет довольно значительную величину: 12 часов, это значит: 720 минут; а 13 часов 27 минут, это 807 минут; излишек второго числа над первым составляет больше 12%, то есть около одной восьмой доли.

В зимнюю половину тропического года высоты пути солнца уменьшаются с 0,9174 до 0,6704; а в соответствующую половину экваториального года пределы изменения те же, как в первую половину: низший предел — 0,9174, высший — 1,0000. Итак, если бы в зимнюю половину тропического года продолжительность дня не становилась меньше неизменной экваториальной, то дневные количества солнечной теплоты изменялись бы в эту половину тропического года от 0,9174 до 0,6704, наибольшее из них было бы с лишком на 8% меньше наибольшего экваториального, а наименьшее с лишком на 26% меньше наименьшего экваториального; но вместе с понижением пути солнца в зимнюю половину тропического года уменьшается и продолжительность дня; от этого происходит уменьшение дневного количества солнечной теплоты в пропорции более значительной, чем определяемые только по понижению пути солнца. Предел уменьшения продолжительности дня — 10 часов 33 минуты; таким образом, в тот день, когда высота пути солнца составляет только 0,6704, день имеет не 720 минут, а только 633 минуты; и количество теплоты солнца в этот день должно быть много меньше того, какое определяется по одной высоте пути солнца: 633 минуты, это лишь семь восьмых долей неизменной продолжительности экваториального дня.

Что ж мы видим, сравнивая тропический год с экваториальным?

Экваториальный год состоит из двух одинаковых половин; пределы изменения дневного количества солнечной теплоты в нем 1,0000 и 0,9174; разница между наибольшим и наименьшим количествами гораздо меньше 9%.

Тропический год состоит из летнего полугодия и зимнего полугодия. В летнее полугодие все дни имеют такие количества солнечной теплоты, которые больше экваториальных; предел этого излишка довольно велик. В зимнее полугодие наибольшее количество дневной солнечной теплоты равно наименьшему экваториальному; наименьшее много очевидно меньше трех четвертей наименьшего экваториального.

Наконец сравним одно с другим два тропические полугодия. Одно из них с начала до конца имеет количества дневной солнечной теплоты больше экваториальных, другое с начала до конца имеет количества меньше экваториальных, и разница доходит до

предела, по которому тропическое количество дневной теплоты не составляет и двух третей наименьшего экваториального.

Это значит — в тропическом годе около эпохи зимнего солнцестояния дневные количества солнечной теплоты вдвое меньше количеств солнечной теплоты дней около эпохи летнего солнцестояния.

Ясно, что по распределению дневных количеств солнечной теплоты тропический год значительно отличается от экваториального; ясно, что насколько температура зависит от дневных количеств солнечной теплоты, тропический год должен иметь в зимнюю половину довольно большой период времени холодного сравнительно с наименее теплыми днями экваториального года, а в летнюю половину — довольно большой период времени более знойного, чем самые теплые дни экваториального года.

Все мы знаем, что температура местности определяется не исключительно действием дневных количеств солнечной теплоты, падающей на атмосферу этой местности, что морские течения и ветер переносят большие количества тепла или холода из одной местности в другую, что болото и песчаная степь неодинаково воспринимают и сохраняют теплоту или холод; знаем, что эти и другие влияния производят в некоторых местностях очень большое увеличение или уменьшение летнего тепла или зимнего холода; знаем также, что с повышением местности над уровнем моря понижается температура; все мы знаем, что на вершинах Анд под экватором лежит вечный снег, а у северного полярного круга есть местности, в которых весь год имеет почти ровную температуру, как, например, на Шетлэнтских островах под  $61^{\circ}$  широты; знаем, что линии равных годовичных температур под некоторыми меридианами поднимаются в полярном направлении градусов на 12 дальше своего положения под другими меридианами, что изгибы линий наибольшей летней температуры имеют размеры еще более значительные, что еще значительнее изгибы линий наименьшей зимней температуры. Но как бы велики ни были размеры температурных изменений, производимых в действии дневных количеств солнечной теплоты местными особенностями других температурных влияний, все-таки должно иметь ясное понятие об основном законе распределения температур, состоящем в изменениях дневного количества солнечной теплоты в продолжение года. Эти основные количества дают нам возможность понимать истинный характер климатических особенностей, производимых местными различиями влияний, видоизменяющих результаты основного распределения температур по направлению меридианов от экватора к полюсу.

Мы представили обзоры годовичных изменений в дневных количествах солнечной теплоты под экватором и под тропиком. Сделаем соображения о том, как изменяются эти количества под широтами между тропиком и полярным кругом.

Все мы знаем, что дневные количества солнечной теплоты в зимнее полугодие уменьшаются по направлению от тропика к полюсу и что на полярном круге в эпоху зимнего солнцестояния центр диска солнца в астрономический полдень уже не подымается выше линии астрономического горизонта, то есть ночь по астрономическому счету длится целые сутки и дневное количество солнечной теплоты, даваемое в эти сутки отчасти верхнею половиною солнечного диска, подымающейся на некоторое время выше линии астрономического горизонта, отчасти преломлением лучей солнца в атмосфере, подымающим солнце выше видимого горизонта, когда оно находится несколько ниже астрономического горизонта, составляет величину такую незначительную, которая не имеет практической важности; в этот день под полярным кругом солнце несколько времени светит, но почти несколько не согревает; мы знаем также, что период непрерывной ночи увеличивается за полярным кругом и что на полюсе он по астрономическому счету высот солнца занимает все зимнее полугодие. Потому все мы имеем отчетливое понятие, что насколько температура определяется дневными количествами солнечной теплоты, зимнее полугодие становится все более и более холодным по направлению от тропика к полюсу; но каков характер изменений дневных количеств солнечной теплоты по этому направлению меридианов в летнее полугодие? Точные вычисления потребовали бы слишком много места, если бы мы стали излагать их основания простым языком. Потому ограничимся приведением нескольких цифр, дающих возможность судить о приблизительной величине дневных количеств солнечной теплоты под широтами между тропиком и полярным кругом в эпоху летнего солнцестояния. Это будут цифры полуденных высот солнца и продолжительности дня. Количество дневной теплоты получается не через простое перемножение этих двух факторов, а через вычисление по формуле, пользоваться которой посредством общеизвестных арифметических способов — дело многосложное. Но простое соображение о пропорциях, по которым идут в направлении от тропика к полюсу уменьшение полуденной высоты солнца и увеличение продолжительности дня в эпоху летнего солнцестояния, дает уже некоторую ясность представлению о том, как относятся дневные количества солнечной теплоты в эту эпоху под затропическими широтами к наибольшему дневному количеству солнечной теплоты под экватором. Рядом с цифрами элементов, определяющих количества дневной теплоты солнца в эпоху летнего солнцестояния, мы приведем цифры полуденных высот солнца в эпохи равноденствий; продолжительность дня под всеми широтами дополярного круга равна тогда экваториальной; потому цифры высот пути солнца в эти эпохи с точностью соответствуют количествам дневной теплоты и прямо показывают, в какой пропорции эта теплота находится к наибольшей экваториальной, соответствующей синусу угла  $90^\circ$ , принимаемому за 1,0000.

Широта	Эпоха равноденствия			Эпоха летнего солнцестояния		
	Полуденная высота солнца. Угол	Синус угла	Полуденная высота солнца. Угол	Продол- жительность дня. Часы и минуты	Полуден. высота солнца. Синус угла	Продолжитель- ность дня. Отношение ее к продолж. эк- ватор. дня, при- нимаемой за единицу
23°27' (тропик)	66°33'	0,9174	90°	13 ч. 27 м.	1,0000	1
25°	65°	0,9063	88°27'	13 » 34 »	0,9996	1,1305
30°	60°	0,8660	83°27'	13 » 56 »	0,9995	1,1611
35°	55°	0,8192	78°27'	14 » 22 »	0,9797	1,1972
40°	50°	0,7660	73°27'	14 » 51 »	0,9586	1,2375
45°	45°	0,7071	68°27'	15 » 26 »	0,9301	1,2861
50°	40°	0,6428	63°27'	16 » 09 »	0,8945	1,3458
55°	35°	0,5736	58°27'	17 » 07 »	0,8522	1,4264
60°	30°	0,5000	53°27'	18 » 30 »	0,8033	1,5417
65°	25°	0,4226	48°27'	21 » 09 »	0,7484	1,7708
66°33' (полярный круг)	23°27'	0,3979	46°54'	24 »	0,7302	2,0000

Вдумываясь в цифры этой таблицы, легко понять, что закон изменения дневных количеств солнечной теплоты под широтами между тропиком и полярным кругом в летнее полугодие имеет характер, определяемый следующими существенными чертами: чем дальше от экватора за тропиком находится данная местность, тем меньше полуденная высота солнца над нею в эпоху весеннего равноденствия (а при равной продолжительности дня этой эпохи под всеми широтами до полярного круга количество дневной теплоты под каждой широтой в эту эпоху с точностью соответствует полуденной высоте солнца). Под всеми широтами между тропиком и экватором количество дневной теплоты в эпоху летнего солнцестояния много больше наибольшего дневного количества солнечной теплоты под экватором. Но та величина, какую имеет количество дневной солнечной теплоты в эпоху весеннего равноденствия, тем меньше, чем дальше от экватора круг широты; следовательно, тем больше времени надобно для того, чтоб это возрастающее количество сравнялось с наибольшим экваториальным и тем меньше времени остается до летнего солнцестояния.

Таким образом, летнее полугодие под широтами между тропиком и полярным кругом отличается от соответствующего экваториального полугодия тем, что соразмерно расстоянию круга широты от тропика уменьшается число дней, в которые дневное количество солнечной теплоты больше наибольшего экваториального. Вторая половина летнего полугодия в этом отношении одинакова, как мы знаем, с первой; потому закон распределения дневных количеств солнечной теплоты под широтами между тропиком и полярным кругом будет таков:

Чем дальше от экватора находится круг широты, тем большее число дней после весеннего равноденствия и перед осенним равноденствием принадлежит частям полугодия, имеющим количества солнечной теплоты меньше наименьшего экваториального; за этой первой частью весенней четверти года и перед соответствующею ей последней частью осенней четверти года летнее полугодие имеет под всякой широтой между тропиком и полярным кругом такие дни, в которые количество солнечной теплоты повышается через величины от наименьшей до наибольшей экваториальной; между этими вторыми частями весенней и осенней четвертей года находится некоторое количество дней, имеющих количество солнечной теплоты больше наибольшего экваториального. Эта часть летнего полугодия, состоящая из конца весенней и начала осенней четвертей года, имеет продолжительность тем большую, чем ближе к тропику параллельный круг, и тем меньшую, чем дальше он от тропика. Вычислять длину ее под разными широтами между тропиком и полярным кругом мы не будем по той же причине, по которой не вычисляли наибольших количеств дневной теплоты в эпоху летнего солнцестояния для широт между экватором и полярным кругом. Но есть на земном шаре два пункта, относительно которых можно вычислить очень немногосложным способом количество теплоты в каждый день летнего полугодия; это — полюсы. Простота вычисления дает нам возможность привести цифру дневного количества солнечной теплоты под северным полюсом в эпоху летнего солнцестояния. А для того, чтоб узнать отношение этой величины к количеству солнечной теплоты под экватором, мы вычислим наибольшее экваториальное количество дневной теплоты. Мы примем простой способ вычисления, чтобы каждый читатель мог сам проверить его.

В каждый момент дня количество теплоты, идущей от солнца на атмосферу данной местности, прямо пропорционально высоте солнца (точнее сказать, высоте центра диска солнца) над астрономическим горизонтом этой местности (то есть над тою линиею, какую образует горизонт на открытом море или на равнине, которая расстилается до края горизонта без всяких заметных повышений или понижений своего уровня, образует, подобно морю, правильную часть поверхности эллипсоида). Высоты солнца измеряются, как мы знаем, синусами углов, образуемых центром его диска с тою точкою круга горизонта, которая находится на том же меридиане. В хороших таблицах логарифмов есть таблицы синусов, выраженные не логарифмами этих цифр, а самими цифрами. Потому каждый, имеющий хорошие таблицы логарифмов, может проверить наше вычисление наибольшего количества дневной теплоты под экватором, сделав простое сложение готовых цифр, находящихся в таблицах длины синусов. Если же у желающего сделать проверку нет под руками хороших таблиц логарифмов, он может проверить наше вычисление, взяв хотя бы самые маленькие таб-

лицы логарифмов. Ему должно будет приискивать логарифмы синусов и потом приискивать в таблицах чисел те цифры, которые соответствуют этим логарифмам; эти цифры и будут цифрами длины синусов.

Простым арифметическим способом, которым поведем мы наше вычисление наибольшего дневного количества солнечной теплоты под экватором, получаются цифры лишь для отдельных точек кривой линии, составляющей путь солнца. Но если брать эти отдельные пункты на таких расстояниях, чтобы изгибы кривизны между ними не имели значительной величины, то приблизительный счет дает вывод, мало отличающийся от точного. Так, например, когда вычисляются стороны вписанного в круг многоугольника, имеющего 192 стороны, то получается величина обвода, несколько меньшая, чем окружность круга, а когда вычисляются стороны такого же многоугольника, описанного около круга, то получается величина обвода, несколько большая окружности круга. Но разница между обводами первого и второго многоугольников оказывается очень мала; потому видно, что истинная величина окружности круга, занимающая средину между этими двумя величинами, еще меньше отличается от каждой из них, чем они отличаются одна от другой. Наш многоугольник будет иметь не 192 стороны, а 360 сторон в полном своем обводе (180 сторон в половине обвода); потому даст вывод, очень близкий к точной величине.

Мы разделим дневную половину пути солнца на градусы и будем находить высоты центра диска солнца в моменты прохождения его через каждую из точек его дневного пути, совпадающих с делением на градусы; таким образом мы получим ряд высот, соответствующих точкам дневного пути солнца, —  $0^\circ$ ,  $1^\circ$ ,  $2^\circ$  и т. д. до другой оконечности полукруга:  $178^\circ$ ,  $179^\circ$ ,  $180^\circ$ . Для ясности приведем начало, небольшую долю средней части и конец этого ряда цифр.

Пункты дневного пути солнца	Высоты центра диска солнца в эти моменты прохождения через эти пункты
$0^\circ$	0,0000
$1^\circ$	0,0175
$2^\circ$	0,0349
$3^\circ$	0,0523
$4^\circ$	0,0698 и так далее
.....	.....
$86^\circ$	0,9976
$87^\circ$	0,9986
$88^\circ$	0,9994
$89^\circ$	0,9998
$90^\circ$	1,0000
$91^\circ$	0,9998 (= высоте $89^\circ$ )
$92^\circ$	0,9994 (= высоте $88^\circ$ ) и т. д.
.....	.....
$178^\circ$	0,0349 (= высоте $2^\circ$ )
$179^\circ$	0,0175 (= высоте $1^\circ$ )
$180^\circ$	0,0000 (= высоте $0^\circ$ )

Представим себе, что прямые линии, соответствующие своими длинами величинам этих цифр длины синусов, поставлены вертикально на горизонтальной линии в равных расстояниях одна от другой; мы получим ряд линий, из которых каждая следующая подымается верхним своим концом выше предыдущей, сначала много, потом меньше и меньше, пока в середине ряда повышение, уже давно сделавшееся незначительным (соответственно разнице цифр: 0,9994, 0,9998, 1,0000), прекращается на самой середине ряда (в пункте  $90^\circ$ , синус которого имеет длину 1,0000) и дальше заменяется понижением, ход которого совершенно соответствует ходу повышения в первой половине ряда (соответственно следующим за 1,0000 цифрам 0,9998, 0,9994 и т. д.).

Соединим верхние концы наших вертикальных линий поперечными линиями, которые в начале и в конце ряда вертикальных линий будут иметь очень наклонное положение, а чем ближе к середине ряда, тем меньшую наклонность, и в самой середине ряда будут лежать почти горизонтально. Таким образом, мы получим многоугольник, верхний край которого образуется ломаной линией, сначала поднимающейся круто, потом все менее и менее круто, перегибающейся на своей середине и опускающейся сначала полого, потом круто в другой половине своей, а нижний край образуется горизонтальной линией. Верхний обвод многоугольника имеет 180 сторон, соответственно тому, что мы считали длины синусов для каждого градуса половины круга. Площадь между ломаной линией верхнего обвода и горизонтальной линией, служащей основанием многоугольника, будет своею величиною обозначать количество солнечной теплоты, идущей на атмосферу линии земного экватора в продолжение того дня, в который солнце проходит над этой линией через зенит.

Мы имеем цифры высот пунктов перелома верхнего края нашего многоугольника; какими цифрами должны быть выражаемы горизонтальные расстояния между этими вертикалами. Та основная горизонтальная линия, на которой вертикально поставлены линии синусов, — эта линия продолжительности экваториального дня. Он имеет 12 часов, то есть 720 минут. А мы поставили на этой линии 181 вертикал, в равных один от другого расстояниях, по числу градусов полукруга от  $0^\circ$  до  $180^\circ$  ( $0^\circ$ ,  $1^\circ$ ,  $2^\circ$  и т. д. до  $180^\circ$ , это 181 цифра, а не 180 цифр; потому и число вертикалов 181; первый и последний вертикалы, соответствующие синусам  $0^\circ$  и  $180^\circ$  равны 0; каждый из них — точка на горизонтальной линии, обозначающая тот пункт, на котором пересекает ее наклонная линия, опускающаяся от  $1^\circ$  к  $0^\circ$  и от  $179^\circ$  к  $180^\circ$ ; число расстояний между 181 вертикалами будет 180).

Итак, горизонтальная линия, изображающая собою продолжительность дня, имеющего 720 минут, разделена на 180 равных частей; ясно, что каждая из этих частей представляет собою про-

должительность четырех минут. И действительно мы знаем, что солнце проходит каждый градус своего пути в 4 минуты времени, а мы ставили на горизонтальной линии вертикалы, изображающие собою высоты солнца на пунктах его пути, отстоящих один от другого ровно на градус. Итак, если мы будем вести счет времени по минутам, то каждую из 180 равных частей горизонтального основания нашего многоугольника мы должны считать за 4. По этой норме счета мы должны будем помножить на 4 ту сумму, какая получается у нас через сложение всех цифр, обозначающих длины вертикалов, то есть высоты солнца. Тогда мы будем иметь счет суммы площади, выраженный произведением высот его, считаемых десяти тысячными долями радиуса, на продолжительность времени, считаемого по минутам. Но мы должны иметь счет, выраженный в единицах количества теплоты. Для этого мы должны будем перемножить полученное нами первое произведение на коэффициент теплоты. Счет теплоты ведется по единицам, называемым калориями. Калория — такое количество теплоты, которое повышает на  $1^\circ$  стоградусной скалы термометра 1 кубический сантиметр воды (или <если> считать не по объему, а по весу, то один грамм воды). Теперь принимают, что количество теплоты, падающей на 1 квадратный сантиметр верхнего слоя атмосферы от солнца, находящегося в зените, равно 2,5 калориям, то есть: если был бы выставлен действию лучей солнца, находящегося в зените, один грамм воды в сосуде с вертикальными стенками, имеющем площадь дна, равную 1 квадратному сантиметру и был огражден от охлаждения, и если бы лучи солнца падали на эту воду, нимало не ослабленные в своей теплоте прохождением через атмосферу, то температура этого грамма воды повысилась бы в продолжение 1 минуты на 2,5 градуса стоградусного термометра. Последнее условие неудобно исполнимо: невозможно предотвратить уменьшения теплоты лучей солнца при их прохождении через атмосферу до нас или инструментов, которыми производим мы наблюдения. Но поглощение части теплоты лучей солнца атмосферой при прохождении через атмосферу уменьшает только силу их действия на поверхность земли или моря и предметы, находящиеся невысоко над этой поверхностью, а сумма их действия на температуру остается равна полной силе той теплоты, какую имеют они за вычетом части, отраженной в пространство. Потому, когда определяется теплотворное действие лучей солнца, то принимают его за равное 2,5 калориям в продолжение минуты времени при высоте солнца, соответствующей зениту.

Итак, мы должны начать вычисление сложением длины синусов, соответствующих высотам солнца в моменты его прохождения через  $0^\circ$ ,  $1^\circ$  и т. д. в тот экваториальный день, когда в полдень оно проходит через зенит. Чтобы каждый читатель мог проверить сделанное нами вычисление, помещаем в примечании таблицу длины синусов углов  $0^\circ$ ,  $1^\circ$ ,  $2^\circ$  и т. д.,  $90^\circ$ .

Таблица длины синусов углов от 0° до 90° по интервалам, равным градусу

0°, 00000	16°, 02756	31°, 05150	46°, 07194	61°, 08746	76°, 09703
1°, 00175	17°, 02924	32°, 05299	47°, 07314	62°, 08829	77°, 09744
2°, 00349	18°, 03090	33°, 05446	48°, 07431	63°, 08910	78°, 09781
3°, 00523	19°, 03256	34°, 05592	49°, 07547	64°, 08988	79°, 09816
4°, 00698	20°, 03420	35°, 05736	50°, 07660	65°, 09063	80°, 09848
5°, 00872	21°, 03534	36°, 05878	51°, 07771	66°, 09135	81°, 09877
6°, 01045	22°, 03746	37°, 06018	52°, 07880	67°, 09205	82°, 09903
7°, 01219	23°, 03907	38°, 06157	53°, 07986	68°, 09272	83°, 09925
8°, 01392	24°, 04067	39°, 06293	54°, 08090	69°, 09336	84°, 09945
9°, 01564	25°, 04226	40°, 06428	55°, 08192	70°, 09397	85°, 09963
10°, 01736	26°, 04384	41°, 06561	56°, 08290	71°, 09455	86°, 09975
11°, 01908	27°, 04540	42°, 06691	57°, 08387	72°, 09511	87°, 09986
12°, 02079	28°, 04695	43°, 06820	58°, 08480	73°, 09563	88°, 09994
13°, 02250	29°, 04848	44°, 06947	59°, 08572	74°, 09613	89°, 09998
14°, 02419	30°, 05000	45°, 07070	60°, 08660	75°, 09659	90°, 10000
15°, 02630					

Каждой цифре от синуса 0° до синуса 89° соответствует такая же цифра в другой половине счета, от синуса 91° до синуса 180°. Итак, сложив цифры от синуса угла 0° — 0,0000 до синуса угла 89° — 0,9998, мы должны удвоить сумму их. Слагая, получаем 56,7984; множим эту цифру и получаем 113,5968; прибавляем к этому произведению синус 90°, встречающийся только один раз и потому не введенный нами в сложение цифр, сумму которых надобно было удвоить; получаем

$$+ \sin 90^\circ = \frac{113,5968}{1,0000} \\ \underline{114,5968}$$

Эта цифра — сумма синусов углов 0°, 1°, 2° и т. д. до 180°, сумма высот солнца в моменты его прохождения через эти пункты дневного пути. Счет высот веден по долям высоты зенита, потому сумма получена в единицах высоты зенита. Это значит, что сумма согревающей силы солнца в моменты его прохождения через пункты от 0° до 180° превышает с лишком в 114 раз ту силу действия, которая принадлежит моменту прохождения солнца через зенит. Пункты высот, определенных нами и соединенных в сумму по счету высоты зенита, отделены один от другого целым градусом пути; а каждый градус пути солнце проходит, как мы знаем, в 4 минуты; мы знаем также, что количество теплоты, идущей в продолжение минуты с лучами солнца, находящегося в зените, принимается за равные 2,5 калориям; это значит, что если мы хотим выразить в калориях сумму теплоты, идущей на атмосферу под экватором в продолжение того дня, когда солнце в полдень проходит над линией земного экватора через зенит, мы должны помножить полученную нами сумму высот солнца на 4 и произведения помножить на 2,5, то есть, по легкости счета при замене этих двух перемножений одним, помножить ее прямо на 4 × 2,5 = 10. Таким

образом, мы получаем вывод, что сумма теплоты, идущая в продолжение этого дня на линию экватора, равняется 1145,968. За исключением двух крайних цифр = 0,0000 и средней цифры = 1,0000, все слагаемые длины синусов — бесконечные дроби; мы брали их с четырьмя знаками; при таком счете каждая принимаемая цифра может заключать в себе погрешность, почти равную половине единицы последнего места десятичной дроби, которое берется в счет с отбрасыванием всей следующей части дроби. Нет правдоподобия, чтобы все 179 слагаемых дробных цифр имели наибольшую возможную погрешность и чтобы во всех она одинаково была плюсом или во всех минусом. Но очень правдоподобно, что сумма 179 погрешностей, каждая из которых может простирается до половины 1 последнего знака, составляет несколько единиц последнего принятого в счет места десятичных дробей, и одинаково возможно этой погрешности быть плюсом или минусом; таким образом, истинная цифра теплоты этого экваториального дня может составлять или 1145,980 или только 1145,950 вместо полученной нами цифры 1145,968.

Мы вычислили сумму дневной теплоты под экватором в тот день, когда солнце проходит через зенит, то есть вычислили наибольшее количество теплоты экваториального дня. Вычислим теперь сумму теплоты, идущей от солнца на полюс в день летнего солнцестояния. Этот счет очень прост. Пути солнца над земным полюсом лежат горизонтальными кругами; всегда или виден, или не виден весь круг. В зимнее полугодие он вовсе не виден; в летнее полугодие он весь виден непрерывно от весеннего до осеннего равноденствия. Дни этого полугодия различаются между собой только высотой, на какой горизонтально лежит весь круг; в эпоху летнего солнцестояния, когда высота его достигает наибольшей величины, она составляет  $23^{\circ}27'$ . Синус этого угла равняется 0,397949 (Мы берем эту дробь не с четырьмя, а с шестью десятичными знаками, потому что всякая погрешность в ней увеличивается, как увидим, в 360 раз при переложении ее в сумму дневной теплоты, следовательно, должно взять величину ее с гораздо большей степенью приближения, чем какая достаточна для дробей, входящих в сумму высот солнца лишь по два раза). Мы вели вычисление высот солнца в экваториальный день по расстояниям от градуса до градуса; следовательно, и сумму высот солнца в полярный день мы должны составить через сложение всех высот солнца по расстояниям от градуса до градуса, а этот день состоит из полного круга солнца, то есть солнце проходит в этот день через все 360 градусов круга. На каждом градусе высота его одна и та же, потому что круг имеет горизонтальное положение. Таким образом мы найдем сумму высот солнца на всех 360 точках прохождения его через градусы, перемножив общую высоту каждого из этих моментов на 360. Делаем умножение и получаем:

$$0,397949 \times 360 = 143,2616$$

Умножаем эту сумму высот на 10 и получаем, что количество солнечной теплоты, идущее на земной полюс в день летнего солнцестояния, составляет 1432,616.

А наибольшая сумма солнечной теплоты экваториального дня составляет, как мы видели, только 1145,968. Принимая наибольшую экваториальную сумму дневной солнечной теплоты за 1 сравнения, мы найдем, что сумма солнечной теплоты, идущая на полюс в день летнего солнцестояния, равняется 1,25, то есть, что в этот день на атмосферу полюса идет количество теплоты, превышающее целой четвертью наибольшую экваториальную сумму дневной теплоты.

Те из наших читателей, которым не случилось раньше чтения этого нашего очерка узнать, какова сумма теплоты, идущей на атмосферу полюса в день летнего солнцестояния, и каково отношение этой величины к наибольшей сумме теплоты экваториального дня, усомнились бы в справедливости найденного ими теперь вывода, если бы не шли вместе с нами к нему шаг за шагом, имея полную возможность проверить каждую цифру и каждый арифметический прием, посредством которых формировался вывод. Мы не имели права предполагать доверия к нам в деле разъяснения астрономических вопросов; нам следовало, напротив того, предполагать во многих читателях мнение, что автор «Очерка научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории» вовсе не специалист по математике. Это мнение справедливо; но дело не в том, специалист ли он по математике, а лишь в том, случилось ли ему узнать астрономические истины, относящиеся к вопросу о распределении солнечной теплоты по разным параллельным кругам и по разным временам года. Надобно было изложить процесс получения этих истин таким простым языком, чтобы ход соображений был ясен для тех читателей, знания которых по математике не превышают знаний автора, и чтобы каждый из них мог проверить вывод.

Излишек теплоты дня летнего солнцестояния под полюсом сравнительно с наибольшей дневной теплотой под экватором так велик, что очевидно не мог возникнуть весь в один день; напротив, возрастание, шедшее от 0 в начале первой половины летнего полугодия к величине 1,25, в конце ее должно было достичь величины 1,00 за довольно большое число дней перед солнцестоянием; уменьшение от 1,25 до 1,00 идет в начале второй половины полугодия тем же ходом, каким шло в конце первой половины возрастание, и также займет довольно большое число дней. Таким образом, даже под полюсом находится в середине летнего полугодия довольно большой период времени, когда дневные количества солнечной теплоты превышают наибольшую дневную теплоту солнца под экватором. Понятно, что чем дальше от полюса, чем ближе к тропику, тем длиннее эта часть летнего полугодия.

Мы говорили о дневных количествах солнечной теплоты в летнее полугодие под полюсом только для того, чтобы придать яс-

ность понятию об отношениях этого полугодия под высокими широтами к экваториальному полугодю. Люди не живут под полюсом; возвратимся к соображениям о тех широтах, в которых живут они. Мы сделали обзор годового распределения дневных теплот солнца под тропиком и видели, что все дни летнего полугодия под этой широтой имеют дневные количества солнечной теплоты большие количества ее в соответствующие дни экваториального года, но что другое полугодие под тропиком имеет гораздо меньше солнечной теплоты, чем под экватором, где оно одинаково с первым полугодием. Широты между экватором и тропиком, разумеется, занимают по распределению дневных теплот средние положения соответственно своим географическим широтам: чем ближе к экватору, тем меньше разница между полугодиями, чем ближе к тропику, тем больше она.

За тропиком она возрастает по направлению к полюсу, это мы все знаем; но большую важность представляет разъяснение вопроса о том, который из двух пределов дневного количества солнечной теплоты передвигается с увеличением широты с такою быстротою, что его изменение образует главную причину увеличения разницы между летним и зимним полугодиями. Мы теперь имеем уже довольно отчетливое представление об этом. Наибольшее количество дневной теплоты или не уменьшается сравнительно с тропическим под более далекими от экватора широтами, или уменьшается очень мало. Летние полугодия под градусами широты между тропиком и полярным кругом имеют сумму солнечной теплоты тем меньшую, чем дальше от тропика; но уменьшение летней полугодичной суммы происходит не от понижения верхнего предела в возрастании дневных количеств солнечной теплоты, а собственно оттого, что понижается предел, с которого начинают расти они в летнее полугодие, и понижается наравне с ним предел, до которого падают они в конце полугодия. Эти начальный и конечный пределы под широтами между тропиком и полюсом совпадают с эпохами весеннего и осеннего равноденствия, когда, как мы знаем, продолжительность дня под всеми широтами до полюса равна неизменной экваториальной и составляет 12 часов. А при этой равной под всеми широтами продолжительности дня эпох равноденствия, количества дневной теплоты прямо пропорциональны полуденным высотам солнца. Рассмотрим первые две колонны той нашей таблицы, в которой приведены полуденные высоты солнца в эпохи равноденствий под некоторыми из широт между тропиком и полярным кругом, сравним эти высоты. Под тропиком полуденная высота в эпоху равноденствия = 0,9174, то есть она лишь на одну тринадцатую долю меньше высоты зенита; под широту  $25^\circ$  она равна 0,9063, то есть на расстоянии лишь немногим больше полутора градуса от тропика по направлению к полюсу она уменьшилась на 0,0111, на одну девятую долю, и стала уж на одиннадцатую долю меньше зенитной.

Под широтами  $30^\circ$  она равна 0,8660, на расстоянии  $5^\circ$  ее уменьшение составило 0,0403, то есть одну двадцать пятую долю единицы; служащей нормою сравнения, и она стала почти на одну седьмую долю меньше зенитной; делая следующие переходы по расстояниям  $5^\circ$ , мы видим такой ряд цифр:

Широта	$25^\circ$	$30^\circ$	$35^\circ$	$40^\circ$	$45^\circ$	$50^\circ$	$55^\circ$	$60^\circ$	$65^\circ$
Полуд. выс.	0,9063	0,8660	0,8192	0,7660	0,7071	0,6428	0,5733	0,5000	0,4226
Разности	403	468	532	589	643	690	738	774	

С каждым переходом на  $5^\circ$  по направлению от экватора к полюсу разность полуденной высоты от высоты предшествовавшего круга широты становится больше; это значит, что дневное количество теплоты в эпоху равноденствия уменьшается в пропорции более значительной, чем уменьшается расстояние от полюса или увеличивается расстояние от экватора; иначе сказать: уменьшение дневного количества теплоты в эпоху равноденствия идет прогрессией более быстрой, чем приближение пунктов меридиана к полюсу.

Чем ниже тот уровень, с которого идет возрастание дневного количества солнечной теплоты в первую половину летнего полугодия, тем позднее достигнет эта растущая величина равенства с наименьшей экваториальной; потом пройдет несколько времени до достижения ею равенства с наибольшей экваториальной и, за вычетом этих двух частей, тем меньше останется часть четверти года, в которую эта величина превосходит наибольшую экваториальную. Вторая четверть летнего полугодия одинакова, как мы знаем, с первой по количествам дневной теплоты; следовательно, чем дальше от тропика круг широты, тем большую часть в обеих половинах летнего полугодия составляют дни, имеющие количество дневной теплоты меньше наименьшего экваториального. Собственно, в этом и состоит разница летних полугодий под далекими от экватора широтами от соответствующего по времени экваториального полугодия. Не уменьшением наименьших количеств дневной теплоты отличаются летние полугодия этих широт от экваториального полугодия, а увеличением продолжительности и интенсивности стужи в начале и в конце своего летнего полугодия.

Если бы температура дней летнего полугодия определялась только количествами дневной теплоты в это полугодие, она не была бы очень низка даже и под полярным кругом. Полуденная высота солнца в эпохи равноденствий под полярным кругом составляет 0,3979, то есть равняется почти двум пятым долям наибольшей экваториальной дневной теплоты, составляет почти четыре девятых доли наименьшего экваториального количества. Разница Велика, но не колоссальна. Жизнь под полярным кругом была бы удобна для однолетних растений, которым нужна теплота лишь

в продолжение пяти или даже только четырех месяцев, если бы высота температуры там определялась исключительно дневными количествами солнечной теплоты с начала летнего полугодия. Не только пшеница превосходно росла бы под полярным кругом, очень хорошо росли бы там и маис, и даже рис. Но дело в том, что началу летнего полугодия под широтами, близкими к полярному кругу, предшествует полугодие с очень малыми количествами дневной теплоты. В продолжение этого полугодия температура падает так низко, что нужна очень большая сумма дневных теплот весенней четверти года для ее поднятия до уровня выше точки замерзания, и потом нужна очень большая сумма этих теплот для того, чтоб исчезли лед и снег, оттаяла почва на такую глубину, какая нужна для развития корней пшеницы; еще тяжелее для жизни растений, подобных пшенице, другое обстоятельство: под широтами, далекими от экватора, бывают даже днем морозы после того, как земля уж оттаяла на довольно большую глубину, а по ночам морозы бывают и после того, как перестают бывать морозы днем; нескольких часов такой низкой температуры достаточно, чтоб убить растение, подобное пшенице.

Таким образом, разницы между климатическими поясами производятся, во-первых, понижением количеств дневной теплоты в начале летнего полугодия и, во-вторых, холодностью зимнего полугодия. Этот второй элемент климатических различий имеет наибольшее значение в произведении разниц между растительностью под разными широтами, а характер растительности — важнейший из тех элементов, которыми определяется удобство или неудобство человеческой жизни у племен, перешедших от добывания пищи исключительно охотой или рыболовством к способам пропитания, дающим более изобильные и более верные средства жизни.

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ РУССКОГО ПЕРЕВОДА «ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ» Г. ВЕБЕРА, Т. I

В новом издании нашего перевода первого тома книги Вебера мы переработали форму изложения сообразно привычкам русской публики, бесспорно хорошим.

Книга Вебера напечатана тремя шрифтами: основной рассказ напечатан крупным шрифтом (цицерио); он перерывается вставками менее крупного шрифта (боргеса); это — пополнения к основному рассказу; кроме того, есть вставки еще более мелкого шрифта (петита); это — или выписки из немецких ученых, или рассказы содержания книг. Большие отделы, соответствующие главам, но не имеющие никакого названия, разделены на куски менее крупные; эти куски подразделены на мелкие, мелкие дробятся на более мелкие. На полях выставлены заглавия отделов, еще более мелких, имена государей, хронологические цифры.

Эта тяжелая форма изложения давно брошена французскими и английскими учеными; русской публике она не нравится; начинают покидать ее и немецкие ученые, которым одним оставалась она мила. Мы в переработке своего перевода заменили ее общепринятой у французов, англичан и русских, менее растянутой и более удобной для чтения связной формой рассказа.

Мы отбросили дробление книги на куски разных шрифтов; весь текст мы сделали непрерывным цитеро; куски прежнего боргеса и прежнего петита, обратившись в строки одного шрифта с основным рассказом, получили типографскую возможность не быть перерывами рассказа, стать его частями. Мы распределили их по тем местам его, с которыми они связаны по содержанию и от которых были оторваны своим различием по величине букв. При этом устранились повторения, которых было множество: в основном рассказе дело излагалось кратко, в пополнениях — подробнее; краткое изложение не заключало в себе ровно ничего, кроме повторяемого подробнее в пополнении; когда подробное изложение переносилось в соответствующее место краткого, краткое выходило совершенно излишним и выпускалось.

Дробление рассказа на мелкие куски отброшено. Когда история народа не превосходит своим объемом величину одной обыкновенной главы, она осталась без всякого деления, потому что подразделения, более мелкие, чем главы, не допускаются нынешними правилами изложения ученых книг. Те части рассказа, которые имеют размер, превышающий величину главы, разделены на главы: рассказ о египтянах — на две главы, рассказ об индийцах — на пять, об израильтянах — на шесть глав.

Обозначение содержания, уничтоженное на полях, заменено подробным оглавлением, представляющим несравненно больше удобства находить страницу, на которой рассказывается приискиваемый факт. Такие оглавления принято делать в английских исторических книгах.

Хронологические цифры перенесены с полей в текст; через это сделалось во всех случаях ясным, к какому именно факту относится цифра. А при постановке цифр на полях, очень часто выходила путаница: на одной строке текста говорится о двух, о трех фактах, например: одержана победа, взята крепость, одержана вторая победа; на поле против этой строки поставлена цифра года, месяца, числа; к которому из трех фактов она относится? Этого обыкновенно нельзя разобрать, если не помнить или не навести справку в другой книге.

Риторические украшения, растягивающие рассказ многословием, мы отбросили, как делали в нашем переводе, начиная с VII тома. Ни одного факта, ни одной мысли, относящейся к делу, мы не выпустили; выброшены только фразы старомодного красноречия, которого еще держится большинство немецких ученых по рутине, покидаемой возрастающим меньшинством.

«Введение», написанное Вебером, рассматривает вопросы, утраченные интерес. Мы заменили его очерком нынешних понятий о возникновении обстановки человеческой жизни и о ходе развития человечества в так называемые доисторические времена.

Обороты речи и собственные имена, испорченные в первом издании, корректура которого не была читана нами, исправлены.

За собственно так называемые типографские опечатки должно винить не типографию, а нас; типография заслуживает только признательности за свою заботу о правильном наборе текста, в котором сделано нами столько поправок, что трудно было разбирать густую, перепутанную сеть их.

### Введение

## ОЧЕРК НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ И О ХОДЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ВРЕМЕНА

До недавнего времени те авторы трактатов о всеобщей истории, которые хотели ограничиваться изложением достоверных сведений или сообразных с правилами науки предположений о жизни рода человеческого, начинали свои книги прямо рассказом о временах, от которых дошли до нас письменные известия или народные предания. Теперь писатели, не отставшие от успехов науки, имеют возможность начинать рассказ о жизни человечества со времен гораздо более отдаленных, благодаря открытиям, сделанным в областях знания, более или менее соприкасающихся с собственно так называемой историей или даже далеких от нее, но разъясняющих другие отделы знания, близкие к ней.

Из новых источников наших сведений или соображений о давних, так называемых доисторических временах жизни человечества были приняты историками раньше всего те данные о быте людей и об отношениях между разными народами, которые выводятся из филологических исследований. Таким образом, предисловие к рассказу об исторических временах составили очерки родства между народами индо-европейского или арийского, семитического, монгольского и других семейств, соображения о том, где первоначально жило то или другое семейство до своего разделения на разные народы, какой степени образования достигало оно тогда, в каком порядке и какими путями переселялись из общего отечества разные части этого семейства в земли, в которых застают их первые письменные известия или изустные предания о них.

Несколько позднее были открыты материальные остатки человеческой деятельности доисторических времен. Некоторые из этих старинных орудий, обломков посуды и других принадлежностей человеческой обстановки быта, кости или раковины животных, служивших пищей людям, остатки человеческих жилищ относятся к эпохам более давним, чем времена человеческой жизни, разъясняемые филологическими данными. Еще дальше в прошлое идут све-

дения о жизни людей, доставляемые зоологическими исследованиями и соображениями о топографическом характере, о растительности и климате тех земель, в которых жили люди давних времен. Геологическим сведениям о состоянии земной поверхности в те давние эпохи предшествуют, в нынешних предисловиях к истории человечества, сведения о возникновении твердой поверхности земного шара, сообщаемые астрономией.

В конце прошлого века астрономия достигла такого развития, что возможно стало приобрести достоверные понятия о том, как образовался земной шар. Эту работу исполнил гениальнейший из специалистов по математике и астрономии, живших после Ньютона, Лаплас. Теперь всем образованным людям довольно хорошо знакома раскрытая им история солнечной системы и земного шара. Потому достаточно будет привести здесь те черты ее, которые следует припоминать при чтении других историй, более новых и принимаемых некоторыми за более достоверные.

Одинаковость движения планет вокруг солнца по сравнительно узкому поясу пространства в одном и том же направлении, одинаковость их вращения около своих осей в том же направлении, и некоторые другие одинаковости фактов, относящихся к планетам и их спутникам, показывают, что все эти небесные тела выделились из одной массы материи и что их движения лишь результат прежнего общего движения этой массы. Историю перемен, которыми произведены из нее отдельные тела нашей солнечной системы, Лаплас объяснил действиями всеобщего тяготения. По закону тяготения первоначальная масса, занимавшая громадное пространство и находившаяся в очень разжиженном состоянии, должна была, вращаясь около своего центра тяжести, принять форму диска. Этот диск сжимался; при уменьшении диаметра быстрота вращения его возрастала; с возрастанием быстроты вращения увеличивалась центробежная сила; само собою разумеется, что чем дальше от центра была часть вращающейся массы, тем больше была линия, проходимая ею в данное время. При общем возрастании быстроты кругового движения массы, скорость вращения окраины диска приобретала, наконец, такую величину, что уравновешивала центростремительную силу. Тогда окраина переставала приближаться к центру, начинала вращаться около него на одном и том же расстоянии; а между тем вся остальная масса продолжала сжиматься по направлению к центру тяжести. Таким образом, окраина отделялась от остальной массы. Через несколько времени быстрота вращения новой окраины диска тоже достигала такой величины, что центробежная сила уравновешивала в ней центростремительную, и с нею повторялось то, что было с прежней окраиной: она тоже отделялась от остальной массы, продолжавшей сжиматься по направлению к центру. Из этих отделенных частей массы образовались планеты и спутники их, а центральная масса образовала центральное тело, солнце.

При сжимании вещества повышается его температура. Количество вещества в каждом из тех кусков, сгущением которых образовались большие планеты и спутники их, было так велико и пропорция сгущения так значительна, что температура каждого из них повысилась до степени, далеко превосходящей температуру плавления наиболее огнеупорных металлов, а при такой температуре невозможны никакие из тех химических соединений, какие образуются сочетанием кислорода, хлора, серы — и других металлоидов с металлами и составляют почти всю нынешнюю массу известной нам части твердой оболочки нашей планеты. То же было и в других больших планетах. Потому вещество каждой из больших планет находилось некогда в состоянии капельножидком или, вероятнее, газообразном. Вращаясь около своей оси, оно должно было по закону тяготения принять форму шара, сплющенного под полюсами; пропорция сплюснутости определялась отношением между силою притяжения всего вещества планеты к центру его тяжести и быстрою вращением его около оси. Масса мало-помалу охлаждалась лучеиспусканием своей теплоты; правда, она продолжала сжиматься, это служило источником развития прибавочной теплоты в ней; но действие лучеиспускания было сильнее и прибавочная теплота только замедляла ход охлаждения, а не останавливала его. Охлаждение шло с поверхности внутрь, потому поверхность охладилась, когда центральная часть планеты еще сохраняла очень высокую температуру. Когда поверхность планеты остыла настолько, что некоторые из составлявших ее веществ стали переходить в твердое состояние, началось образование кусков твердой коры; они увеличивались в длину и в ширину, становились толще, соединялись краями и, наконец, образовалась цельная твердая оболочка нашей планеты.

На этом мы остановимся, потому что дальнейший ход дела на нашей планете принадлежит уже не столько астрономической, сколько геологической истории ее. Обращая внимание на то, чем объясняет Лаплас перемены, результатом которых было возникновение нашей планеты, мы видим, что все основано у него на применении законов всеобщего тяготения и законов повышения и понижения температуры к разъяснению хода дела. В этом состоит существеннейшее различие составленной астрономической истории земного шара от теорий, какими заменяют ее некоторые из нынешних астрономов. У Лапласа принципы объяснения — простые, несомненно достоверные законы движения всякого вещества, имеющего свободу движения, и законы температурных перемен, тоже достоверные относительно всякого вещества. У астрономов, полемизирующих против выводов Лапласа, принципами объяснения берутся гипотезы или недостоверные, или прямо несообразные с законами природы. Наиболее известные из теорий, составленных взамен Лапласовой, имеют ту общую черту, что называют все вещество, знакомое нам по опыту, совершенно пассивным и выстав-

ляют причиной движения небесных тел удары гипотетического вещества, называемого эфиром. Ученые, любящие рассуждать об эфире, приписывают ему свойства, несовместные одно с другим; они говорят, что частицы его не имеют тяготения ни одна к другой, ни к тому веществу, которое знаем мы по опыту. Пусть так; но с тем вместе они предполагают, что каждая частица обыкновенного вещества окружена атмосферой эфира, так что вблизи каждой частицы его эфир сгущен гораздо больше, чем вдали от обыкновенного вещества; зачем же ему сгущаться около частиц обыкновенного вещества, когда он, по словам тех же ученых, не имеет тяготения ни к какому веществу? Прежде чем объяснять действиями эфира движения небесных тел, следовало бы авторам этих теорий рассудить, что надобно им остановиться на одной какой-нибудь из двух несовместных между собою мыслей: «эфир притягивается обыкновенным веществом» и «эфир не притягивается обыкновенным веществом». Строить теорию, на одних страницах которой он не подлежит закону тяготения, а на других подлежит — дело нелепое. Но пусть эфир имеет ту прекрасную особенность, что о нем в каждую данную минуту можно говорить, как понадобилось в эту минуту, забывая, вяжутся ли новые слова с тем, что было говорено в предшествовавшую минуту, все-таки тот способ объяснять им движение небесных тел, которого держатся составители этих теорий, не годится ни для чего, кроме сказок, пренебрегающих законами природы. Объяснение имеет такой вид: частицы эфира летят по всем направлениям с очень большой быстротой; наталкиваясь на какое-нибудь вещество, частица эфира отпрыгивает от него назад, передавая ему ту силу движения по своему прежнему направлению, какую имела до столкновения; это выходит вроде того, как бы песок налетал на камень, имеющий свободу движения: песок отлетал бы от камня назад, а камень получал бы от его толчков движение по направлению, в котором он налетает на него. Прекрасно, по законам физики так и должно быть. Но что дальше, как объясняется этим взаимное тяготение между солнцем и планетой? Вот как: солнце, отражая те частицы эфира, которые налетают на него по направлению к находящейся за ним планете, закрывает ее от толчков с этой стороны; а с противоположной стороны она получает толчки; потому двигается к солнцу. Точно так же и она закрывает солнце от толчков частиц эфира, налетающих на нее по направлению, в котором находится за нею солнце, а с противоположной стороны солнце получает толчки, потому и оно движется к планете; эти два движения, сближающие планету с солнцем, имеют быстроту, соразмерную величине защиты, даваемой одному из тел другим, а величина защиты соразмерна массе защищающего тела. Таким образом, если мы для простоты соображений возьмем в расчет только солнце и землю, то получим следующую пропорцию скорости движений, которыми сближаются они: солнце имеет массу с лишком в

300 000 раз больше массы земли; потому защита, даваемая солнцем земле, с лишком в 300 000 раз больше защиты, даваемой солнцу землей, и в то время, в которое солнце подвигается к земле на одну какую-нибудь единицу меры, земля подвигается к солнцу больше, чем на 300 000 таких единиц. Это рассуждение было бы прекрасно, если б не происходило от забвения об основном законе давления, оказываемого капельножидкими и газообразными телами. Какова бы ни была толщина слоя жидкости между двумя твердыми телами и как бы ни было велико протяжение этой среды за задними сторонами этих тел, все равно: давление находящегося между ними слоя совершенно уравнивает собою давление, производимое на них этою средою по противоположному направлению. Так, например, если мы пустим два куска дерева посредине огромного озера на расстоянии двух или трех сантиметров один от другого, они будут сближаться между собою, хотя каждый из них подвергается с задней стороны давлению слоя воды, имеющего десятки или сотни километров в длину, а давление на них со сторон, обращенных одна к другой, производится лишь слоем воды в два или три сантиметра длиною. Дело в том, что количество толчков, производимых частицами воды, одинаково с обеих сторон каждого тела. То же самое относится к давлению газообразных тел и должно относиться к давлению эфира, каковы бы ни были наши основательные ли мысли или нравящиеся нам фантазии об этом предполагаемом веществе. Оно по основному нашему предположению находится в газообразном состоянии, и мы обязаны нашею собственною основною мыслью о нем рассуждать о результатах его давления сообразному достоверному закону давления газообразных тел.

Наши астрономические и физические знания получили очень много важных пополнений после того времени, как Лаплас составил историю возникновения солнечной системы и очерк астрономической истории земного шара. Потому его труд может быть пополнен значительным количеством новых подробностей и некоторые из подробностей, находящихся у него, должны быть по всей вероятности изменены. Но те основные законы природы, из которых выводит он существенные черты своей истории солнечной системы и формирования земного шара, не получили с его времени никаких важных пополнений, потому что в его время формулы их уж имели полную точность, благодаря в значительной степени его собственным открытиям. Ученые, занимающиеся пополнением его теории без претензий заменить ее собственными изобретениями, улучшают ее. Но об ученых, воображавших себя способными приобрести славу мыслителей более глубокомысленных, чем Лаплас, превзойти его гениальностью, должно сказать, что они имели слишком высокое понятие о своих умственных силах. Дело, за которое брались они, превышало размер их дарований, они путались в своих соображениях и сочиняли фантазии, противоречащие зако-

нам природы. Чтобы переработать историю солнечной системы и земного шара, данную Лапласом, надобно иметь такую силу ума, какой не имел еще ни один из геометров и астрономов, живших после него; и когда явится такой гениальный специалист, в переработке его сохранятся существенные черты истории, данной Лапласом, потому что они выведены из законов природы, бывших уж хорошо формулированными во время Лапласа.

После того как образовалась на земном шаре сплошная твердая кора, поверхность ее стала охлаждаться быстрее, чем могло это быть с поверхностью, состоявшей из расплавленных минералов, охладевшие слои которых спускались в глубину, заменяясь подымавшимися из нее слоями менее остывшими, еще жидкими. Когда поверхность твердой коры получила температуру менее высокую, чем точка кипения воды, водяной пар, падавший на нее дождями, образовал озера или моря в ее впадинах; дожди отчасти разлагали химическим действием воды некоторые из каменных пород, подвергавшихся им, отчасти разрушали скалы ударами своих капель; потоки разрушали каменные породы, по которым текли, и сносили мелкие выветрившиеся частицы с высот в углубления; то же самое производило химическое действие кислорода, углекислоты и других разъедающих составных частей атмосферы, механическое действие ветра: высоты выветривались, образовавшаяся от этого пыль была сносима вниз. Одновременно с выравнивавшим поверхность земного шара действием воды и атмосферы продолжалось охлаждение, производившее теперь, по образования твердой коры, противоположное действие: при охлаждении, диаметр земного шара уменьшался, твердая кора постоянно делалась слишком широка для его внутренней части, на которой лежала, опускалась к ней; опускаясь, изгибалась и ломалась; от этого прежние неровности земной поверхности увеличивались и образовались новые. Таким образом постоянно росли горы, углублялись долины, а действие воды и атмосферы постоянно разрушало выступы, постоянно отлагало куски и пыль этого разрушения в долины суши, в воду озер и моря.

Слои, отложенные водою в долинах суши, на дне озер и моря, располагались, разумеется, более или менее горизонтально, и, вообще говоря, их порядок остался тот же, в каком они отлагались. При продолжающемся охлаждении и уменьшении диаметра земного шара происходили, разумеется, и перемены в их порядке: твердая кора во многих случаях ломалась и морщилась так, что горизонтальные слои получали очень наклонное положение, нередко даже вертикальное, а тогда и опрокидывались, так что прежняя верхняя плоскость пласта ложилась вниз, а прежняя нижняя делалась верхней; нередко морщины ломались и перемещались так, что край одного куска надвигался на соседний кусок; часто в трещины выжималось жидкое вещество внутренней части, еще остававшейся расплавленною; это вещество, поднявшись от дав-

ления кусков коры по трещинам ее, разливалось по ее поверхности, и таким образом поверх пластов сравнительно новых, осевших из воды, ложились массы внутреннего вещества, сохранившего старый состав. Но все такие случаи, хотя очень многочисленные, составляют лишь исключение из общего правила, по которому отложившиеся из воды пласты лежат один на другом в том порядке, в каком оседали из воды, и сохраняют более или менее горизонтальное положение.

В самых нижних и старых осадочных пластах или вовсе не сохранилось органических остатков, или они так видоизменились от проникавшего в эти пласты жара расплавленной внутренней части, что трудно различить их от камня. Выше лежат пласты, в которых находятся остатки организмов, имеющие такой ясный характер органического состава, что ошибка невозможна: они несомненно остатки организмов. Кроме остатков организмов, сохранились отпечатки их на иле, впоследствии отвердевшем. Организмы, от которых сохранились остатки или отпечатки в пластах, наиболее давних из заключающих в себе такие остатки или отпечатки, имели очень небольшой размер и немногосложное устройство. Выше лежат пласты, в которых находятся остатки организмов более крупных и более сложного устройства. Это уже растения и животные, подобные некоторым из нынешних, но вовсе не нынешние. Чем новее пласт, тем больше сходства с нынешними имеют сохранившиеся в нем организмы. Но эти очень сходные с нынешними организмы принадлежали сначала к таким разрядам растений и животных, которые не считаются наиболее высокоорганизованными. Говоря, в частности, о животных в пластах, лежащих глубоко, нет остатков так называемых позвоночных животных. В пластах более новых появляются остатки позвоночных, но лишь принадлежащих к наименее высокоорганизованным рядам позвоночных; это рыбы; выше находятся и пресмыкающиеся. Но птиц и млекопитающих еще нет. Остатки этих животных, имеющих наиболее высокую организацию, находятся лишь в пластах очень новых. Сначала это млекопитающие и птицы, лишь похожие на нынешних, но вовсе не нынешние; после того такие, о которых надобно сказать, что они птицы и млекопитающие, одинаковые с нынешними, лишь не нынешних видов; наконец являются остатки млекопитающих и птиц тех же видов, как нынешние; наконец появляются остатки птиц и млекопитающих нынешних пород.

Два пласта, отлагавшиеся из воды при неодинаковых условиях, приобретали в продолжение одинакового времени неодинаковую толщину; во многих случаях эта разница быстроты нарастания могла быть очень велика, так что, например, один пласт приобретал в продолжение данного времени толщину в десятки раз большую, чем другой. Но, вообще говоря, должна была быть некото-

рая соразмерность толщины пластов с продолжительностью времени их нарастания; и если мы будем брать группы, состоящие каждая из многих пластов, то можно полагать, что быстрота нарастания некоторых пластов одной группы уравнивается при общем счете медленностью нарастания других, так что периоды времени, в которые образовались две большие группы пластов, более или менее пропорциональны толщине этих групп.

Принимая это за основание соображений о периодах образования разных групп осадочных пластов, мы видим, что все те пласты, в которых найдены остатки млекопитающих и птиц, отложились в течение времени, незначительного по сравнению с периодами образования более старых групп, в которых не найдено их остатков, а находятся только остатки животных менее высокой организации.

В той группе пластов, в которой найдены остатки птиц и млекопитающих, только верхние пласты заключают в себе остатки нынешних видов этих животных, в нижних найдены только остатки старых видов их, не одинаковых с нынешними; и общая толщина пластов, имеющих в себе остатки нынешних видов их, незначительна по сравнению с общей толщиной пластов, в которых найдены лишь остатки прежних видов, не сходных с нынешними; это значит, что нынешние виды млекопитающих и птиц существуют лишь в течение времени, незначительного по сравнению с тем, в которое существовали другие, более старые виды их.

Правда, наши находки дают лишь очень неполный и отрывочный материал для соображений о том, к какому именно времени относилось возникновение того или другого вида животных более или менее высокой организации; нашими собственными раскопками вырыты лишь такие количества песка, глины, мела или известняка и лежащих под ними каменных пород, сумма которых ничтожна по сравнению с массой этих пластов; действием природы обнажены по берегам моря, в разломах гор, в прорезах течения рек и ручьев части наслоений, имеющие величину гораздо более массивную, чем наши раскопки; но и эти части, открытые для нашего исследования самой природою, составляют лишь маленькую долю всей массы пластов. Потому ни об одном, хотя бы самом верхнем пласте геологических наслоений — хотя бы, например, о песке морских берегов, речных долин и высохшего дна прежних морей или озер — мы не можем сказать с уверенностью, что в нем нет остатков никаких других видов животных, кроме тех, которые уж известны нам по нашим находкам; должно думать, что в нем есть и остатки многих других видов, только еще не встретились нам в исследованной нами маленькой части массы этого пласта. Итак, о каждом из нынешних видов птиц и млекопитающих можно думать, что он возник раньше самого старого из тех пластов, в которых найдены его остатки, что они существуют в пласте, образовавшемся непосредственно перед этим пластом,

а быть может, и в пластах еще более ранних, но только еще не попались нам в ничтожных исследованных нами частях этих более старых пластов.

Итак, отрицательные данные не могут служить основанием для определения времени, в которое возник какой-нибудь из нынешних видов млекопитающих или птиц: относительно каждого можно предполагать, что он существовал раньше времени образования самого нижнего из тех пластов, в которых найдены его остатки. Но есть положительные данные, определяющие ту границу времени, раньше которой не мог он существовать. Этот разряд фактов образуют те остатки животных, которые найдены в пластах гораздо более древних, чем самый старейший из пластов, в которых найдены остатки животных, одинаковых с нынешними птицами или млекопитающими. Если в каком-нибудь пласте, лежащем много ниже этого, найдены остатки нескольких сот видов птиц и млекопитающих и все эти виды различны от нынешних, нет между ними ни одного не только одинакового с каким-нибудь из нынешних, но и близкого по своей организации к какому-нибудь из них, то очевидно, что в эпоху образования этого пласта все млекопитающие и птицы имели организацию, не одинаковую с нынешними, степень развития этих организмов была иная, чем нынешняя, и не могли существовать тогда никакие из нынешних млекопитающих и птиц: все нынешние возникли позднее той эпохи.

На основании этих соображений получается тот достоверный вывод, что наибольшая, какую возможно предполагать, давность возникновения какого-нибудь из нынешних видов млекопитающих и птиц относится к временам очень новым по геологическому порядку эпох, что какова бы ни была давность возникновения нынешних видов этих существ, она — время очень новое в геологическом смысле слова.

По справедливым понятиям, сделавшимся теперь общепринятыми у всех добросовестных специалистов, каждый из нынешних видов млекопитающих или птиц возник путем видоизменения организации какого-нибудь более старого вида; и если существуют несколько очень близких между собою видов какого-нибудь ряда этих существ, то различия между ними возникли через видоизменения разных групп одного и того же общего предка. Для ясности возьмем определенный пример. Теперь существует довольно большое количество разных птиц, настолько сходных между собою по организации, что все они принадлежат к одному семейству ласточек. Теперь принято справедливое мнение, что все эти виды ласточек произошли от одного старого вида птиц, и что все различия между нынешними видами ласточек возникли через видоизменение прежней одинаковой организации разных местных групп одного прежнего вида птицы, имевшего организацию, уже довольно похожую на нынешних ласточек. Из этого является вопрос: какими именно различиями в обстоятельствах жизни этих

разных местных групп одного и того же существа произведены различия, по которым разные группы его стали существами неодинаковой организации? Мы вообще не имеем возможности с полной точностью отвечать на подобные вопросы, должны ограничиваться заключениями довольно неопределенного характера, говорящими только, что в данном случае должны были действовать какие-нибудь из обстоятельств, могущих производить перемены организации в рассматриваемом нами направлении. Берем для примера разницу между нынешними породами ласточек по силе, скорости и ловкости полета. Разницы эти довольно значительны. Наша ласточка с крыльями сравнительно короткими, делающая себе норы в глинистых обрывах речных берегов, летает прекрасно; но несравненно лучше ее летает наша домашняя ласточка, имеющая более длинные крылья и выющая гнезда на стенах наших жилищ. Должно полагать, что еще гораздо лучше нашей домашней ласточки летает та, которая вьет гнезда, употребляемые в пищу китайцами: она пролетает в пещеры через узкие отверстия, ежеминутно захлестываемые волнами; наша домашняя ласточка едва ли в состоянии делать такие быстрые и ловкие обороты полета, какие нужны для этого. Не подлежит сомнению, что все эти три рода ласточек произошли от одной птицы; нельзя сомневаться в том, что эта прежняя птица летала очень хорошо, гораздо лучше птиц, имеющих слабый или тяжелый полет; но если мы спросим себя, какова была степень ее силы и искусства летать по сравнению с нынешними, произошедшими от нее ласточками, то ответ будет достоверен, лишь когда мы удовлетворимся неопределенными выражениями вроде того, что прежняя птица, от которой произошли нынешние ласточки, летала, по всей вероятности, менее хорошо, нежели некоторые из нынешних, и, например, менее хорошо, чем ласточка, выющая съедобные гнезда. Если бы мы захотели прибавить, что и наша домашняя ласточка летает лучше той прежней птицы, то мы уже вдались бы в соображения — положим, правдоподобные, но не имеющие достоверности. Еще меньше достоверности имела бы та прибавка, что даже и короткокрылая ласточка, делающая себе норы в обрывах речных берегов, летает лучше прежней птицы, от которой произошла. Очень возможно, что та прежняя птица летала лучше некоторых из нынешних видов ласточек. Идем далее в разборе вопросов, относящихся к различиям в полете нынешних ласточек. Спросим себя, от каких обстоятельств произошло, что некоторые отделы потомства общей прародительницы ласточек стали летать лучше ее, некоторые же остались на той же степени хорошего полета, какая уж принадлежала ей, а некоторые, быть может, стали летать менее хорошо, чем она? Достоверные ответы на вопросы этого разряда получаются лишь в границах соображений, основанных на законах физиологии. Общий характер этих ответов будет такой: организация улучшается при условиях жизни, благоприятных улучше-

нию здоровья организма, ухудшается при обстоятельствах, вредных организму. Для примера возьмем наших домашних птиц. Все они летают хуже родственных им птиц, живущих на свободе. Эта перемена несомненно принадлежит к тому разряду изменений, который в физиологии называется понижением организации. Чтобы найти, какие различия жизни домашних птиц от жизни родственных им видов, остающихся неприрученными, произвели это понижение организации, мы должны искать, какие особенности жизни птиц в прирученном состоянии должны по законам физиологии уменьшать способность их к хорошему полету. Тут прежде всего бросается в глаза то обстоятельство, что собственнику птиц убыточна их способность хорошо летать и он употребляет всякие способы для ее уменьшения. Будет ли достаточно это объяснение, или надобно искать еще каких-нибудь влияний, чтобы могло считаться вполне объясненным понижение тех частей организации домашних птиц, которыми дается им способность летать, — это вопрос специальной оценки размера того влияния, какое производят на организацию особенности образа жизни. Эта оценка должна быть сделана на основании данных, представляемых физиологией. Для того, чтобы видно было, по каким правилам велит физиология вести это дело, предположим, что по найденным ею фактам понижающее действие забот собственника об уменьшении способности домашних птиц к полету оказывается недостаточно сильным для произведения всего результата, происхождение которого мы исследуем, и что надобно искать других причин, действующих в том же направлении. Какие именно будут найдены нами добавочные объяснения, мы еще не знаем; но физиология показывает нам, каков должен быть характер их; он неизбежно тот же самый, какой принадлежит заботам хозяина об уменьшении способности птиц к полету; все добавочные влияния, содействующие успеху этих забот, должны точно так же состоять в чем-нибудь вредном для развития мускулов, движущих крыльями, и для развития крыльев; а все то, что вредит развитию каких-нибудь частей организма, вредит и здоровью его; и если этот организм живое существо, ощущающее разницу здоровых и нездоровых влияний на него, то все влияния, уменьшающие способности какой-нибудь птицы к полету, производят в ней ощущение неудовлетворительного состояния ее организма, ощущаются ею как неудобства, если они малы, а если велики, то как страдания.

Разумеется, физиологические потребности разных частей организма у существа, имеющего такую многосложную организацию, как птица, могут быть в значительной степени неодинаковы. Так, например, потребность желудка в пище неодинакова с потребностью мускулов полета в деятельности. Потому некоторые обстоятельства, выгодные для удовлетворения потребности птицы в пище, могут оказывать вредное влияние на ее способность к полету. Мысли этого рода повели к недоразумению очень распро-

страненному. Очень многие специалисты по исследованиям о развитии организмов держатся понятий, которые в применении к вопросу, взятому нами для примера, выражаются такими словами: полное удовлетворение потребности желудка в пище всегда или, по крайней мере, обыкновенно производит ослабляющее действие на мускулы полета и на развитие крыльев; голод или всегда, или, по крайней мере, обыкновенно благоприятствует развитию способности к полету. Мысли подобного рода встречаются в большей части трактатов об истории развития организации живых существ. Но они произошли от смешения понятий, строго различаемых физиологией. Тут перенесены на понятие о хорошем удовлетворении потребности желудка в пище те черты, которыми в физиологии определяется факт совершенно иного разряда — обжорство, переполнение желудка таким количеством пищи, которое превышает силу организма превращать пищу в химические соединения, надобные организму. Физиология считает обжорство фактом патологическим, результатом болезненного состояния или самого желудка, или каких-нибудь частей нервной системы. Часто ли подвергаются этому болезненному состоянию птицы и млекопитающие, ведущие свободную жизнь, — вопрос едва ли исследованный с точностью, удовлетворительной для строгих ученых требований. Но те житейские наблюдения, какие случайно делаются всеми нами, производят впечатление, что обжорство болезнь, очень редкая между свободными млекопитающими и птицами. После продолжительного страдания от голода птица или млекопитающее в свободном состоянии набрасывается на пищу с жадностью и первые куски ее глотает так торопливо, что может быть случается какому-нибудь из этих существ подавиться в первые моменты своей патологической еды. Но это лишь предположение, которое при нынешнем плохом состоянии ученой разработки подобных вопросов едва ли может быть подтверждено хоть одним действительно наблюденным фактом. Допустим, однакоже, что оно вполне подтверждено наблюдениями; все-таки мы будем иметь такой ряд состояний организма, подвергшегося вреду от обжорства: недостаток пищи привел организм в патологическое состояние; результатом этого патологического состояния была болезненная деятельность организма при восприятии пищи; результатом болезненного хода восприятия пищи был вред для организма. В конце — вред; а в начале что? Также вред; от вреда произошел вред, от болезненного состояния произошло расстройство организма. Этому так и следует быть по законам физиологии, и всякая мысль, несообразная с этим, противоречит законам физиологии, происходит от незнакомства с ними, или забвения о них, или от неразумения об истинном смысле физиологических терминов.

По законам физиологии нормальный ход жизни млекопитающих и птиц таков: желудок данного вида птиц или млекопитающих имеет такое устройство и обмен вещества в его организме

имеет такую степень быстроты, что через известное количество времени после хорошего насыщения это существо начинает иметь потребность в принятии новой пищи; когда возникает эта потребность, живое существо, о котором идет речь, начинает чувствовать аппетит; раньше того оно не имеет аппетита и не станет есть; пища производит на него отталкивающее впечатление; когда оно поглотит такое количество новой пищи, какое достаточно для удовлетворения надобности его организма, оно утрачивает аппетит и перестает есть. Таким образом, пока жизнь этого существа идет хорошо, то есть сообразно потребностям его организма, у него не бывает случаев обжорства. Всякий случай обжорства — результат предшествовавшего патологического состояния. Когда жизнь млекопитающего или птицы идет нормально, оно имеет только периоды аппетита; периодов голода в его хорошей нормальной жизни нет. Если, например, по устройству его организма, потребность пищи бывает у него два раза в сутки, то перед истечением периода 12 часов, которым отделяются одна от другой эпохи нормального принятия новой пищи, это живое существо начинает ощущать позыв к еде; он постоянно растет, но не успевает достичь такой ненормальной силы, чтобы сделаться мучительным; нет, он продолжает лишь пока остается ощущение приятным; при первом появлении неприятного элемента в нем, живое существо приобретает желание прекратить его принятием пищи, и если обстоятельства жизни соответствуют в это время потребностям организма его, оно имеет возможность удовлетворить этому желанию, а если в это время не имеет оно готового запаса пищи и не может найти ее очень скоро, то, значит, обстоятельства расположились для него дурно; оно подвергается бедствию по дурному для него сочетанию их.

Голод — результат несообразности обстановки жизни животного с устройством его организма, состояние, несообразное с хорошим ходом функций организма его, вредное для этих функций, то есть вредящее организму, состояние патологическое, производящее патологические результаты.

Так это по физиологии. Она строго различает хороший ход функций организма от дурного; аппетит и результат его, своевременное принятие пищи в количестве, соответствующем надобностям организма, она относит к разряду фактов жизни, полезных для организма; голод и его результаты — к разряду фактов, вредных организму.

Если мы спутаем в своих соображениях понятия о полезном и о вредном, будем воображать вредное полезным, то, разумеется, вывод из наших соображений будет фальшивый. Этим страдают очень многие из нынешних трактатов об истории развития организации живых существ. Несообразность рассуждений с законами физиологии в них до такой степени груба, перенесение понятия об одном разряде физиологических фактов на другой разряд, кото-

рому физиология дает определение, прямо противоположное определению первого разряда, производится с такой слепой несообразительностью, что фальшивость их выводов о благотворном влиянии физиологических бедствий на организмы не может быть объясняема ни пробелами знаний у этих специалистов, ни недостаточностью их умственных сил для правильного понимания сведений, даваемых физиологией; сведения, надобные для правильности соображений в данном случае, так элементарны, что их имеют все грамотные люди; отношения между патологическими состояниями и результатами их, определенные физиологией, так просты, что без всякого усилия понятны человеку самых ограниченных умственных способностей; потому речь тут должна идти не об учености или недостатке учености, не о силе или слабости дарований у специалистов, принявших теорию полезности голода и других страданий живого существа для улучшения его организации; это дело такого же рода, как прежние заблуждения, по которым большинство ученых людей защищало некогда простонародные предрассудки о существовании ведьм и тому подобные гнусные, свирепые нелепости. Причина заблуждения та, что эти специалисты рассуждают на основании ошибочных мнений, наследованных народами их от предков-варваров. Даже у тех наций, которые справедливо называются передовыми, общественное мнение сохраняет много элементов грубости давних времен невежества и любви к насилию; оно расположено повторять без критики те афоризмы, которыми люди варварских времен оправдывали свои грабежи, убийства и другие проявления своих грубых склонностей. Один из таких афоризмов — мысль, что не следует держаться добрых правил в обращении с людьми менее сильными, нежели мы, что, притесняя их, мы обуздываем дурные склонности их, научаем их поступать хорошо, действуем в качестве благодетелей их, насильственно обращая их из дурных людей в хороших, из ленивых в трудолюбивых, из злых в добрых. В применении к физиологическим вопросам это воззрение на жизнь дает выводы такого рода: физическое страдание полезно для улучшения организма страдающего существа; в частности, полезен для улучшения организма голод, полезны всяческие физические лишения. А общая ученая формула вывода из варварских понятий, оправдывающих всякие жестокости, такова: страдание — элемент, улучшающий страдающее существо.

Мысли подобного рода противоречат физиологии. Но перемена общественного мнения по вопросу о сходствах между видами органических существ привела специалистов к принятию теории о родстве между видами; они, погружившись в мелочи анатомических, или, как теперь принято называть, морфологических исследований о сходствах и различиях между органическими существами, воображали, будто уж имеют достаточно правильные понятия о пользе и вреде, о хорошем и дурном. А эти понятия были

привычные им, как и огромному большинству нации каждого из них афоризмы, оправдывавшие свирепость варваров, бывших предками нынешних цивилизованных наций. Вспомнить о физиологии не представлялось надобности, когда дело было ясно и без нее.

Таким образом составила и получила широкое господство теория, объясняющая повышение организации бедствиями существ, организация которых улучшалась, то есть, когда речь идет о живых существах, фактами, производящими в них ощущения страданий.

У тех живых существ, которые имеют высокую организацию, химические процессы жизни идут быстро и энергично, потому эти существа имеют потребность принимать пищу в большом количестве и часто; а процессы природы, производящие пищу, идут независимо от их надобности в ней и потому несообразно с нею; от этой несоответственности между потребностью их в пище и процессами, производящими ее, живым существам высокой организации приходится голодать. Голод — главный источник их страданий; он и был выставлен сильнейшей причиной того, что организация их достигла высокого развития. Всякие другие страдания их были выставлены второстепенными причинами улучшения их организации, с большей или меньшей силой, смотря по размеру производимых ими страданий, содействующими главному благотворному элементу их жизни, главному двигателю прогресса организации, — голоду.

Эта путаница соображений, переносящая черты полезного для организмов на вредное для них, распадается вся от применения физиологических истин к решению вопросов о повышении организации. Как скоро мы припомним законы физиологии, само собою становится видно, что вредное для функций жизни существа не может оказывать благотворного действия на его организацию. Заслуживает некоторого внимания распадение лишь одного из узлов, образующих эту путаницу, основного недоразумения, к которому приплелись все другие. Для здорового состояния живых существ высокой организации надобно им иметь много моцион. Если держать млекопитающее связанным или так тесно запертым, что оно лишено свободы передвижения, то оно очень скоро становится больным, и если получает избыточную пищу, то или подвергается той болезни, которая называется ожирением, или худеет; в том и другом случае, если не будет возвращена ему возможность делать моцион, оно довольно скоро умирает. Так и следует тому быть по закону физиологии, говорящему, что каждый орган может оставаться здоровым лишь под условием, чтобы функции его происходили с достаточной энергией. Функция мускулов — движение; если они не имеют его, то должны подвергнуться болезненному состоянию, которое будет усиливаться соразмерно продолжительности действия причины, производящей его; и мускулы образуют во всех живых существах высокой организации такую

большую долю всей массы организма и жизненная важность их так велика, что тяжелое страдание их необходимо должно производить расстройство всего организма.

Умственная и нравственная жизнь существ, не принадлежащих к разряду позвоночных, вероятно, не совсем одинакова с тою, какую знаем мы по собственному опыту: их нервная система имеет не совсем такое устройство, как у высших позвоночных, у птиц и млекопитающих; потому должно думать, что и функции нервной системы у них имеют некоторое различие от форм деятельности нервной системы у птиц или млекопитающих. Быть может, подобным образом должно думать и о деятельности нервной системы у рыб, потому что головной мозг их не совсем одинаков с головным мозгом живых существ, имеющих теплую кровь. Но если мы ограничим круг своих соображений о законах ощущения органических потребностей классом живых существ с теплою кровью, то не может подлежать сомнению, что у каждого из них удовлетворение потребностей каждого органа возбуждает приятное ощущение, а неудовлетворенность ощущается как неудобство, если размер ее не велик, или как страдание, если он велик. Мускулы их имеют потребность производить довольно большое количество передвижений организма. Возможное ли дело предполагать, что какое-нибудь из этих живых существ захочет терпеть неприятное ощущение, когда можно заменить его приятным?

Птиц, живущих на свободе, кажется, не винил в недостатке охоты двигатся, потому займемся только млекопитающими. В детстве они любят играть, то есть производить передвижение тела только для забавы себя. Достигая возраста рассудительности, почти все они перестают иметь пристрастие к играм и наибольшую часть своих движений делают с какою-нибудь практической целью. А самая главная практическая надобность — потребность в пище. Из этого выводится заключение, что голод — та сила, которая не дает их мускулам бездействовать, что если б голод не принуждал их ходить, бегать или прыгать для добывания пищи, то они ленились бы делать столько моциона, сколько надобно для поддержания здорового состояния мускулов, и тем менее хотели бы сделать столько моциона, чтобы мускулы их улучшались. Это пустая фантазия, выдуманная и повторяемая с забвением о фактах общеизвестных. Некоторым млекопитающим надобно очень много бегать или прыгать, чтобы добыть себе пищу. Это так; но такую жизнь ведут почти только те разряды млекопитающих, которые называются хищными животными. Быть может, что временами тоже надобно бывает очень много ходить или бегать для добывания пищи тем травоядным млекопитающим, которые живут в пустынях, почти совершенно лишенных растительности; можно предполагать такие случаи, что стаду газелей надобно бывает пробежать в день десятки километров, чтобы найти достаточное количество пищи в каких-нибудь очень маленьких

оазисах, отделенных один от другого большими расстояниями. Но и число видов, ведущих такую жизнь, и количество животных, ведущих ее, очень невелико. За немногими исключениями, травоядные млекопитающие живут на таких местностях, что достаточно им передвинуться в день лишь на десятки шагов, чтобы добыть достаточное количество пищи. Что ж, доводят ли себя до ослабления мускулов недостаточностью моциона эти млекопитающие, к числу которых принадлежат все виды рогатого скота и все виды лошадей? Мы знаем, что рогатый скот любит проводить очень много времени в неподвижном отдыхе; но слабы ли мускулы этих буйволов, бизонов и других диких видов рогатого скота? Буйвол не имеет организации, требующей хищнического образа жизни; зубы и ноги его не орудия для битв, рога оружие слишком неповоротливое сравнительно с когтями льва или тигра; сочленения спинных позвонков и костей задних ног не имеют той гибкости, какая нужна, чтобы все тело поджималось, как надобно для больших прыжков; потому он производит впечатление существа, имеющего пропорционально массе своего тела менее силы, чем лев или тигр; но это впечатление ошибочно, как показывают опыты, производимые при помощи динамометра: мускул буйвола или бизона, имеющий одинаковый поперечный разрез с мускулом льва или тигра, действует на динамометр с такою же силой, как мускул этих хищных животных; разница между классами млекопитающих по отношению к силе тех или других органов состоит в том, что главные массы мускулов расположены у них неодинаково, прикреплены к разным костям; есть некоторое различие и в том, какую долю общего веса организма составляет вся масса мускулов. Но мускулы одинакового поперечного разреза имеют у всех млекопитающих почти одинаковую силу, то есть энергия жизни мускулов почти одинакова у них всех.

Каким же способом мускулы рогатого скота или живущих на свободе видов семейства лошадей получают количество деятельности, надобное для приобретения и сохранения энергии, одинаковой с тою, какую имеют мускулы льва и тигра, принужденных устройством своего желудка делать очень много моциона для добывания пищи? Все мы знаем о живущих на свободе видах семейства лошадей, что они бегают без всякой надобности в этом для добывания пищи, исключительно по потребности много бегать. То же самое замечено и относительно диких видов рогатого скота людьми, наблюдавшими, как проводят время эти животные: правда, они очень много лежат, но очень много и ходят и бегают. Это совершенно то же, что моцион по гигиеническим мотивам у людей, не имеющих надобности добывать пищу физической работой. Лев или тигр должен для добывания пищи делать столько моциона, что этим количеством передвижений тела вполне удовлетворяется потребность его мускулов в деятельности. Буйвол наедается, переступив лишь несколько десятков шагов; этого мало

для удовлетворения потребности его мускулов в деятельности, и он ходит или бежит просто для удовлетворения этой потребности своих мускулов.

Когда о физической работе рассуждали люди, не испытывавшие сами, какое количество ее может исполнять обыкновенный человек без вреда своему здоровью, и когда не была разработана физиология мускульной деятельности, ученые говорили исключительно о благотворности физического труда и для нравственной и для физической жизни трудящегося человека; труд противопоставлялся праздности, источнику всех пороков, трудолюбие противопоставлялось лени, источнику нищеты, и предполагалось, что предмет исчерпан этими панегириками труду, порицаниями праздности. Теперь все мы знаем, что надобно обращать внимание и на вопрос, существенно различный от дидактических упражнений в похвалах трудолюбию; труд полезен, в том нет спора; но, спрашивается, какое количество труда достаточно для того, чтобы мускулы человека приобретали и сохраняли наибольшую силу и наиболее здоровое состояние, и каковы последствия того, когда человек работает гораздо больше, чем надобно для наилучшего состояния его мускулов? На вопросы этого рода прежде обращали очень мало внимания; но они так просты, что теперь решения их известны всем грамотным людям: количество работы, соответствующее потребности наших мускулов, гораздо меньше того, какое может исполнять человек, принуждаемый к тому необходимостью; работа, превышающая потребность мускулов в деятельности, вредна для организма; если излишек работы над этой потребностью велик, то работа преждевременно истощает организм; а если он подвергается ей раньше, чем достигнет полного развития, то она останавливает развитие мускулов на степени очень далекой от той, какой достигает сила их у людей, исполняющих лишь довольно незначительное количество физической работы. — По всей вероятности, мудрено отыскать теперь образованного человека, который не знал бы, что физическая работа, продолжающаяся только три часа в день, делает трудящегося более сильным и более здоровым, чем такая же работа, продолжающаяся двенадцать часов в день.

В свободном состоянии работают почти только те млекопитающие, которые делают себе жилища и заготавливают съестные припасы для себя на зиму. У большинства из них сумма работы не велика: по устройству жилищ, почти все эти млекопитающие ограничиваются тем, что роют себе норы; сколько можно судить по скудным и неточным наблюдениям, должно полагать, что они ведут работу очень трудолюбиво, отдыхают, лишь почувствовав большую усталость; но сумма работы не велика; дело кончается в несколько дней, и потом целый год или несколько лет не представляется надобности снова приниматься за работу. Труд по устройству жилищ велик лишь у бобров, строящих плотины для

поддержания воды на одинаковом уровне у входов в свои норы. Собрание запаса пищи на зиму требует много времени каждый год; но млекопитающие носят в свои жилища съестные припасы маленькими долями, вес которых не составляет значительной тяжести сравнительно с весом тела их самих, так что собрание запаса пищи составляет много труда только в том отношении, что требует большого количества ходьбы или беганья; это больше моцион, чем работа в строгом смысле слова. Исключение образуют труды только тех немногих видов млекопитающих, которые собирают в запас для себя не плоды или грибы, а корни; выкапывать корни — работа в собственном смысле слова. Еще больше работы приходится исполнять для добывания пищи тем очень немногим видам млекопитающих, которые постоянно добывают ее, роясь в земле, как, например, кроты.

Все виды млекопитающих, много работающие, составляют лишь небольшую долю общего числа видов. Огромное большинство видов млекопитающих или делает только много моциона для добывания пищи, как, например, хищные животные и те, которые собирают запасы продовольствия себе на зиму, или и вовсе не имеют надобности много ходить или бегать для добывания пищи, как очень многие виды травоядных животных. И однакоже по точным опытам, делаемым при помощи динамометра, оказывается, как мы говорили, что мускулы у всех видов млекопитающих имеют почти одинаковую энергию: мускул дикого буйвола, вовсе не работающего и имеющего очень мало надобности в моционе для добывания пищи, сокращается при одинаковой толщине с такой же силой, как мускул льва, делающего очень много моциона для добывания пищи, или мускул крота или бобра, работающих очень много. Из этого мы видим, что большинству млекопитающих для приобретения большой энергии мускулов достаточно количество труда и моциона не очень значительное по сравнению с количеством работы у крота или бобра или количеством моциона, необходимого хищным животным для добывания пищи.

Некоторое количество моциона необходимо для здоровья живых существ, имеющих такую организацию, как млекопитающие, и если какое-нибудь из этих существ достигло высокого развития желаний относительно удобства своих жилищ и обеспеченности от голода, то, разумеется, моцион взрослых, рассудительных существ этого вида не будет простым развлечением, как у их маленьких детей, а получит характер труда для приобретения обеспеченного пропитания и удобной житейской обстановки. Так держат себя, например, бобры. Но должно помнить, что количество моциона для труда, надобное собственно для здоровья его организма, не велико; и если оно исполняет много работы или делает много моциона, то наибольшая часть труда или моциона превышает тот размер, какой достаточен для приобретения и сохранения им собственно мускульной силы. И если взрослые бобры играют, то не

собственно по потребности мускулов в моционе, а по нравственной потребности трудящегося существа доставлять своим мыслям отдых от житейских забот, уделяя от часов физического отдыха несколько времени для веселья.

Всеми специалистами по истории развития организмов принята теперь та истина, что видовые и родовые отличия органических существ приобретены исторически.

Таким образом, все те качества человека, которые составляют сумму собственно человеческих особенностей, приобретены человеком исторически. Их дала ему жизнь его. Первоначально он не имел их.

Теперь найдены остатки человеческой деятельности, принадлежащие эпохам гораздо более давним, чем времена, к которым относятся древнейшие из письменных свидетельств или народных преданий. Но самые старые из этих находок показывают нам человека уже достигшим такой ступени развития, что следует признавать его имевшим тогда все те существенные особенности, которые называются собственно человеческими качествами. Возьмем для примера те находки, которые считаются самыми давними памятниками человеческой жизни, принадлежащими самому низкому фазису человеческого развития. Это находки, состоящие исключительно из расколотых камней, не получивших ни малейшей шлифовки. Рассудим, какую ловкость рук в исполнении технических задач и какую силу соображения необходимо было иметь этим давним людям, чтобы раскалывать кремни для приобретений орудий, соответствовавших топорам, ножам или долотам; рассудим также, какие работы требовали, чтобы человек выделывал себе такие орудия труда, и увидим, что люди, делавшие себе эти нешлифованные каменные орудия, имели уже вполне человеческую силу соображения и ловкость рук и были уж мастеравыми в чисто человеческом смысле слова: они рубили, перепиливали или долбили деревья, они были плотники, делали себе для удобства жилища какие-нибудь предметы, по существенным чертам своего устройства одинаковые или с хижинами, или с лодками нынешних людей. Пусть степень их умственного развития и технических искусств была очень низка по сравнению даже с теми народами, которых мы теперь называем еще остающимися в состоянии дикости; пусть они по своему развитию были много ниже, чем самые дикие племена нынешних американских или австралийских дикарей; но сравнительно с тем состоянием человека, которое было первоначальным, они поднялись уж очень высоко.

Каким путем шло развитие людей от первобытного состояния до той сравнительно очень высокой ступени прогресса, которой достигли они, когда делали самые давние и самые несовершенные из найденных нами остатков человеческой деятельности? — Мы не имеем никаких сведений, специально относящихся к этому воп-

росу. Мы должны решать его не на основании каких-нибудь из наших находок, а исключительно на основании физиологических законов. Из физиологии мы знаем, что организация улучшается при хорошем питании, при удобной обстановке жизни. Одно из необходимых условий хорошей обстановки жизни — взаимное доверие и доброжелательство между существами, считающими себя за одинаковых, расположение их при обыкновенных обстоятельствах, не возбуждающих взаимного озлобления, держать себя друг с другом миролюбиво. Из млекопитающих, кажется, только кроты не имеют взаимного доброжелательства, но зато кроты и не причисляются к млекопитающим такой высокой организации, как лошади, бизоны, серны, волки или тигры, которые все имеют при обыкновенных обстоятельствах доброжелательное чувство к существам одного с ними вида.

Какова бы ни была первоначальная слабость ума и добрых чувств у человека, он был в этих отношениях не ниже бизона или тигра; напротив, был много выше их, как это показывает сравнительная анатомия. Большие полушария мозга имели у него при самом начале его отдельного существования организацию более высокую, чем у млекопитающих, не очень похожих на него по форме тела.

Физиология доказывает, что если организация человека не понизилась, а повысилась сравнительно с первоначальным своим состоянием, то ход жизни человеческого рода имел больше элементов, благоприятствовавших улучшению его организации, чем имевших тенденцию понижать ее. Исключительно этим преобладанием благоприятных для организма обстоятельств жизни над вредными для него объясняет физиология прогресс человека от первобытного состояния до того, сравнительно, очень высокого развития умственных сил, когда он уж умел раскалывать кремни для приобретения себе орудий работы. Без сомнения, людям приходилось во времена этого прогресса много страдать от голода, от вредных явлений внешней природы, от ядовитых насекомых и змей, от сильных хищных зверей, от собственных нерассудительных поступков и от взаимных дурных отношений. Но как бы ни была велика сумма этих бедствий, она была меньше суммы фактов, полезных для человеческого организма. Если было бы иначе, то организация человека не повышалась бы, а портилась бы, он подвергался бы тому, что в зоологии называется деградацией, понижением организации. Для ясности соображений, припомним некоторые черты того ухудшения, которое было бы неизбежным результатом преобладания вредных исторических влияний над хорошими в те времена человеческого существования. Мускулы, управляющие движениями рук и ног, ослабевали бы; расстраивалось бы питание нервов, движущих мускулами; потому руки и ноги ослабевали бы, действовали бы хуже и хуже, и последствием

этого было бы то, что самая структура рук и ног портилась бы; например, кисть руки и пальцы получали бы организацию худшую прежней, рука становилась бы менее ловкой в исполнении тех дел, какие не могут быть исполняемы лапами медведя, ослабевали бы связи, удерживающие позвонки спинного хребта в вертикальном положении; уменьшалась бы ширина основания, на котором стоит спинной хребет; это имело бы своим последствием то, что человеку стало бы трудно ходить на двух ногах, не опираясь на руки, он принужден был бы ходить, наклонившись станом, подогнув колена и опираясь на наружные окраины ладоней или на кулаки рук, как ходят некоторые из других существ, имеющих руки; если бы эта деградация продолжалась, то трудно сделалось бы человеку ходить и таким способом, он принял бы способ ходьбы тех млекопитающих, которые называются четвероногими.

В наиболее давнюю из тех эпох, которым принадлежат найденные нами остатки человеческой деятельности, люди жили уж по всему пространству Азии и Европы, имеющему теперь теплый или умеренный климат; но наибольшее количество находок сделано, разумеется, в тех частях Западной Европы, которые лучше других исследованы натуралистами и археологами и в которых производится наибольшее количество глубоких прорезов земли для сооружения железных дорог, каналов и для других технических работ. Потому главная масса наших сведений о тех доисторических временах нашей жизни, когда люди уж умели делать себе рабочие орудия, относятся к населению Западной Европы.

Климат ее в эти времена подвергался значительным переменам, важнейшая из которых произвела такое понижение температуры, что очень значительная часть Германии, Франции, даже Ломбардии покрылась ледниками. Теперь разъяснено, что для такого громадного расширения ледников вовсе не было нужно очень большого усиления холода: достаточно было средней годичной температуре Германии понизиться на пять или на семь градусов, чтоб она почти вся покрылась льдом, если в то же время увеличилось годичное количество дождя и снега и воздух постоянно имел больше сырости, чем раньше и после того. Это могло быть произведено какими-нибудь переменами в распределении моря и суши на севере и на юге от средней части Западной Европы. Другими причинами временного понижения температуры могли быть периодические изменения формы орбиты земли. В том и в другом случае перемена объясняется без надобности предполагать какое-нибудь большое изменение в очертаниях средней части Западной Европы. Но хотя и нет необходимости думать, что температура ее была в ледниковый период очень много ниже ны-

нешней, все-таки зимы в ней были продолжительнее, а теплая часть года короче, прохладней и сырее, чем теперь. Она имела не такой суровый климат, как Гренландия, но, вероятно, была холоднее и сырее нынешней средней части Норвегии. Люди живут теперь в климатах гораздо более холодных, чем какой имеет даже и северная Норвегия. Но это люди, имеющие огонь, жилища, теплую одежду. Только благодаря тому они могут жить в северной Азии и в северной окраине Америки. Без огня и одежды не могли бы жить люди даже и в средней Франции, в южной Германии при нынешнем климате этих земель. Поэтому самое существование людей в ледниковый период в Западной Европе, имевшей тогда климат более холодный, чем теперь, показывает, что они уж умели разводить и поддерживать огонь, приобретать себе теплую одежду и ловко прикрывать себя ею.

Едва ли можно сомневаться, что люди жили в южной и средней Европе уже задолго до начала ледникового периода. Температура этих земель была тогда выше, чем в ледниковый период; но была ли выше нынешней — мы не знаем, можем только с достоверностью сказать, что если была, то лишь очень немного выше, чем теперь. Например, нельзя отрицать возможности того, что в плиоценовый период, предшествовавший ледниковому, средняя Франция имела такой климат, как ныне имеет южная. Но такую теплую, как Андалузия, она не могла быть в эпоху образования плиоцена, как называется верхняя группа слоев третичной формации, предшествовавшей ледниковому периоду. Были времена, когда Шпицберген имел климат, какой ныне имеет средняя Франция, а она имела, вероятно, такой теплый климат, как ныне имеет северная Африка. Но это было гораздо раньше периода плиоценовой формации.

С того времени, как возникли нынешние виды живых существ, имеющих теплую кровь, общая температура земного шара подвергалась только местным или периодическим колебаниям, но общий уровень ее с той поры не изменялся заметным образом. Нынешние виды теплокровных существ возникли при условиях температуры, приблизительно одинаковых с теми, какие существуют теперь в странах, бывших отечествами их. И обстановка жизни их была тогда приблизительно такая же, какую оставляет она в странах такого климата, не подвергшихся сильному преобразованию от деятельности человека. Растительность была тогда уже такая же, какую имеют теперь местности, где не вырублены или не сожжены леса человеком, не осушены им болота, не проведены каналы, не распаханы поля.

Существа такой организации, как человек, могут жить, не имея огня и одежды, только в том климате, который называется экваториальным. Он имеет важные черты различия от прилегающего к нему с обеих сторон тропического климата. Существенные черты этой разницы по отношению к суточным переменам и годичному

ходу температуры те, что в экваториальном климате температура сохраняет приблизительно одинаковую высоту во все продолжение года, что эта почти неизменная по месяцам и полугодиям высота температуры достаточна для того, чтобы существа такой организации, как человек, могли жить при ней без огня и одежды, и что по ночам не бывает там понижения температуры до такой стужи, которую не могли бы эти существа выдерживать в продолжение нескольких часов без вреда своему здоровью. Это климат тех местностей, где хорошо растут хлебное дерево и другие деревья или кустарники такой же нежной организации, такие же неспособные переносить холод. В какой именно части экваториального пояса находилась родина людей, остается вопросом, еще не разъясненным с полной достоверностью; но, по всей вероятности, это была какая-нибудь из самых южных окраин Азии или какая-нибудь часть Малайского архипелага, быть может, остающаяся и теперь сухой, быть может, залитая теперь морем.

Когда люди стали переселяться оттуда в соседние земли тропического климата не на временную летнюю перекочевку, а на постоянную жизнь там, они уже умели пользоваться огнем для защиты себя от стужи или уж имели теплую одежду; без того они не могли бы продолжать своего существования в тропическом климате: их здоровье часто расстраивалось бы ночными холодами даже в те месяцы, которые еще не принадлежат к зимней поре года, а зимняя пора была бы невыносима для них; они принуждены были бы перекочевывать на зиму ближе к экватору или погибали бы.

Таким образом, всякая находка остатков человеческой деятельности в землях, лежащих за пределами экваториального климата, необходимо принадлежит тем временам, когда люди уж умели хорошо обращаться с огнем или защищать себя от холода теплой одеждой. Но едва ли какая-нибудь из находок, сделанных в Европе, принадлежит временам, когда человеческие искусства еще не подымались выше умения разводить огонь и завертываться в теплую одежду. Должно, кажется, сказать, что наиболее давние остатки человеческой деятельности показывают людей, уж обладавших техническими искусствами более высокими, чем умение разложить и зажечь костер или завернуться в шкуру какого-нибудь большого млекопитающего. Это были люди, умевшие делать себе из кремня рабочие орудия с острыми ребрами, каменные топоры, ножи или долота; мы говорили, что самая надобность их выделять себе такие орудия уж показывает, что они рубили деревья, долбили углубления в срубленных бревнах, были мастеровые в нынешнем смысле слова.

Самые давние из каменных орудий, найденных в Европе, лежат в тех же слоях, в которых находятся кости мамонта и льва. Относительно мамонта мы знаем теперь, что он легко выносил

не только такую стужу, какая бывает ныне в средней Европе, но и морозы гораздо более продолжительные и суровые. Нынешние виды львов едва ли могут пережить на открытом воздухе зиму Германии или хотя бы южной Франции. Поэтому должно думать, что лев, живший тогда в средней Европе, был несколько иной, чем нынешний северо-африканский; он должен был иметь более выносливости к стуже. Очень вероятно, что это был какой-нибудь вид льва, особый от нынешних. Так можно полагать по аналогии с тем, что были тогда в средней Европе особые виды медведя и быка, исчезнувшие теперь. Но нет необходимости принимать именно этот способ объяснения. Мы знаем, что некоторые млекопитающие умеренного климата, переселяясь в холодные страны, приобретают более густую и длинную шерсть. Потому могло быть, что лев средней Европы отличался от нынешнего северо-африканского только более густой и более длинной шерстью. Подобно вопросу о льве, могут быть объясняемы вопросы и о других млекопитающих, живших тогда в средней Европе, а теперь живущих только в климатах более теплых: это были млекопитающие не нынешних, а других видов, или породы нынешних видов, имевшие более теплую шерсть.

Когда ученые стали заниматься исследованиями остатков человеческой жизни в доисторические времена, им показалось, что можно распределить эти находки по периодам довольно мелким и резко отделяющимся одни от других. Таким образом было предположено, что когда люди употребляли каменные топоры и ножи, они еще вовсе не знали бронзовых орудий, а бронзовые орудия вышли из употребления у них очень скоро после того, как они узнали железные. Предполагалось также, что знакомство с бронзовыми орудиями распространилось по всей Европе довольно быстро, что замена каменных орудий бронзовыми произошла у всех европейских племен в продолжение жизни немногих поколений; то же думали и о замене бронзовых орудий железными. Таким образом, разделяли резкими гранями каменный век от бронзового, бронзовый от железного и полагали, что у всех племен средней части Западной Европы каменный век сменился бронзовым почти одновременно, что и железный начался почти одновременно у всех. Каждый из этих трех веков подразделяли на разные периоды, которые тоже были резко разграничиваемы и считались сменявшимися у всех этих племен одновременно.

Когда число находок увеличилось и суждения о них стали более осмотрительными, оказалось, что ход дела был иной, менее соответствовавший систематическим рубрикам, что он был тогда у племен средней и северной Европы такой же, как исторические времена у тех племен Азии, Америки, Океании, которые стали известны цивилизованным народам, когда еще находились в состоянии диком или близком к дикому: население данной местности, ознакомившись с бронзовыми орудиями, продолжало упо-

треблять каменные; в первые времена у него было еще мало бронзовых орудий и, вероятно, приобретение их обходилось слишком дорого, оказывалось недоступным для большинства племени; поэтому употребление их распространялось в этом племени медленно. То же было при переходе от бронзовых орудий к железным. Бывали и такие случаи, что племя, у которого были только каменные орудия, оставалось не имеющим сношений с образованными народами до такого времени, когда эти народы уж перестали употреблять бронзовые орудия, имели исключительно железные; в таком случае торговцы цивилизованного народа, знакомясь с племенем, имеющим только каменные орудия, привозили ему исключительно железные, и каменный век сменялся у него прямо железным; бронзового века не было в его жизни.

То же самое применяется и к подразделениям каменного или бронзового века на периоды по степеням улучшения каменных или бронзовых орудий. Племя, умевшее выделывать только очень грубые каменные орудия, могло получить от цивилизованного народа бронзовые, прежде чем научилось выделывать каменные орудия высокого технического достоинства, или получало даже прямо железные орудия, так что в его жизни не было никаких посредствующих степеней перехода от очень грубых каменных орудий к железным. Так это было со всеми племенами, которые оставались еще на очень низкой ступени технических искусств, когда вступили в сношения с ними греки исторических времен или римляне, или народы, усвоившие себе технические искусства римлян. Греки исторических времен уж не употребляли бронзовых орудий, имели исключительно железные. Тем еще меньше могли передавать дикарям бронзовые орудия римляне, начавшие ходить или плавать в земли варваров, только уж достигнув очень высокой цивилизации.

Образованность распространялась по средней и северной Европе очень медленно. На севере еще продолжался каменный век, когда племена, соседние с Грецией, Италией, греческими колониями юго-восточного приморья Франции, уж давно употребляли исключительно железные орудия.

Таким образом, остается достоверным только то, что ход развития всего человеческого рода был таков:

Первоначально люди не знали употребления огня, не имели никаких орудий работы, кроме тех, какие давала им природа; это были необделанные палки, камни, кости и рога животных; потом они стали обделывать эти материалы: раскалывать кремни, заострять палки; отделка каменных орудий была сначала очень грубою, потом улучшалась; одно из улучшений составляла шлифовка; она была доведена до очень высокого технического достоинства; племена, бывшие в те времена передовыми по успехам в технических искусствах, умели уж очень хорошо шлифовать каменные орудия, когда нашли способ выделывать орудия из меди; после того они

узнали, что сплав меди с некоторым количеством олова дает материал гораздо более твердый, гораздо более пригодный для выделки орудий, чем простая медь, и медные орудия заменились бронзовыми; наконец, бронзовые заменились железными.

Все эти ступени улучшения орудий и были пройдены теми племенами, которые улучшали свои технические искусства собственными силами, без помощи других племен. Но большинство племен, сделавшихся цивилизованными народами, училось у других народов, достигших образованности раньше их.

И если говорить, в частности, о средней и северной частях Западной Европы, то все племена их учились техническим искусствам или у греков, или у римлян и у других народов, непосредственно бывших учениками греков. А греки были учениками финикийцев, малоазиатских народов семитического племени, ассирийцев, египтян.

Мы ограничились очень кратким обзором существенных понятий о том, как сформировалась обстановка человеческой жизни и как шло развитие человечества в доисторические времена. И чтобы наш очерк имел всю возможную краткость, мы останавливались почти исключительно на тех вопросах, по которым не во всех хороших специальных трактатах излагаются понятия, соответствующие основным истинам естествознания. Многие из трактатов, дающих фактам доисторической жизни человечества истолкования, противоречащие основным истинам естествознания и потому фальшивые, написаны натуралистами. Но это обстоятельство, могущее казаться странным, объясняется тем, что авторы их, хорошие специалисты по некоторым отделам естественных наук, забывали в своих исследованиях пользоваться простыми, общеизвестными истинами, принадлежащими не их специальным отделам изучения, а общим частям естествознания — механике, физике, физиологии.

Нам остается изложить результаты филологических исследований о доисторических временах жизни тех народов, которые были главными деятелями в известной нам по письменным известиям истории человечества.

Эти народы принадлежат к четырем филологическим семействам: хамитскому, семитическому, индо-европейскому и еще какому-то другому, вероятно, туранскому.

Египтяне были хамиты. Их родственники по языку — берберы и народы северо-восточной Африки, из которых наиболее известны сомали и галла. Хамиты пришли в Африку из Азии. Берберы перешли в Африку раньше египтян.

Сумеры, учениками которых были вавилоняне, были, вероятно, народ туранского семейства, родственники тюрков или финнов.

Народы семитического семейства — вавилоняне и ассирияне, сирийцы, финикияне, евреи, арабы — пришли в западную Азию с востока.

Специалисты по исследованию первобытной истории индо-европейского семейства спорят теперь между собою о том, Азию или Европу должно считать родиной его. Мнение, выводящее азиатских индо-европейцев из Европы, кажется нам фантазией, лишенной всяких серьезных оснований. Мы считаем достоверным то мнение, что родиной индо-европейского семейства была какая-нибудь горная часть Азии на востоке от Персии и на севере от Афганистана.

Семиты, вавилоняне и ассирияне, составлявшие лишь два отдела одного народа, достигли высокой цивилизации раньше, чем какой бы то ни было народ индо-европейского семейства.

Первые исследователи родственных отношений между санскритским и другими индо-европейскими языками делали слишком благоприятные для нашего общего племенного тщеславия заключения о том, какова была степень цивилизации индо-европейцев, когда еще все они жили в своем первобытном отечестве и составляли один народ. Она была тогда еще невысока по сравнению с бытом народов, имевших большие города и хороших ремесленников. Главным занятием наших общих предков еще оставалось скотоводство; но они уж занимались и земледелием.